

Мигель де Сервантес

Дон Кихот



Мигель де Сервантес Сааведра

Дон Кихот

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Сервантес Сааведра М.

Дон Кихот / М. Сервантес Сааведра — «Мультимедийное
издательство Стрельбицкого»,

«Дон Кихот» - самый известный роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса (исп. Miguel de Cervantes; предположительно 1547–1616)

***Хитрый идалго Дон Кихот Ламанчский, главный герой романа, - неустойчивый фантазер и борец за справедливость. Жажда подвигов овладевает им, и он отправляется в путь, чтобы искоренить всю неправду, завоевать себе титул, а заодно и благосклонность любимой Дульсинеи. «Дон Кихот» М. де Сервантеса стал лучшим романом в мировой литературе по итогам списка, опубликованного в 2002 году, а образ главного героя часто используется в музыке, театре и кинематографе.

© Сервантес Сааведра М.

© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

ТОМ I	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА I	10
ГЛАВА II	13
ГЛАВА III	17
ГЛАВА IV	21
Глава V	25
ГЛАВА VI	28
ГЛАВА VII	33
ГЛАВА VIII	36
ГЛАВА IX	41
ГЛАВА X	44
ГЛАВА XI	48
ГЛАВА XII	53
ГЛАВА XIII	57
ГЛАВА XIV	62
ГЛАВА XV	69
ГЛАВА XVI	74
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Мигель де Сервантес СЛАВНЫЙ РЫЦАРЬ ДОН- КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

ТОМ I

ПРЕДИСЛОВИЕ

Досужий читатель, ты мне и без клятвы поверишь, конечно, если я тебе скажу, что я желал бы, чтобы эта книга, дитя моего ума, была прекраснейшей и остроумнейшей из книг, какие только можно себе представить. Но, увы! для меня оказалось невозможным избежать закона природы, требующего, чтобы всякое существо рождало только себе подобное существо. Что же иное мог произвести такой бесплодный и плохо образованный ум, каков мой, кроме истории героя сухого, тощего, сумасбродного, полного причудливых мыслей, никогда не встречающихся ни у кого другого, – такого, одним словом, каким он и должен быть, будучи произведен в тюрьме, где присутствуют всякие неприятности и гнездятся все злоеющие слухи. Сладкий досуг, приятный образ жизни, красота полей, ясность небес, журчание ручьев, спокойствие духа – вот что обыкновенно делает плодотворными самые бесплодные музы и позволяет им дарить миру произведения, которые его чаруют и восхищают.

Когда какому-нибудь отцу случается иметь некрасивого и неловкого сына, то любовь, которую он питает к ребенку, кладет ему повязку на глаза и не позволяет ему видеть недостатков последнего; он принимает его дурачества за милые забавы и рассказывает о них своим друзьям, как будто это – самое умное и самое оригинальное из всего, что только есть на свете... Что касается меня, то я, вопреки видимости, не отец, а только отчим Дон-Кихота; поэтому я не последую принятому обыкновению и не стану со слезами на глазах умолять тебя, дорогой читатель, простить или не обращать внимания на недостатки, которые ты можешь заметить в этом моем детище. Ты ни его родственник, ни его друг; ты полный и высший господин своей воли и своих чувств; сидя в своем доме, ты располагаешь ими совершенно самодержавно, как король доходами казны, и, конечно, знаешь обычную пословицу: Под своим плащом я убиваю короля; поэтому, необязанный мне ничем, ты освобожден и от всякого рода уважения ко мне. Таким образом, ты можешь говорить об этой истории, как ты сочтешь для себя удобным, не боясь наказания за дурной отзыв и не ожидая никакой награды за то хорошее, что тебе заблагорассудится сказать о ней.

Я хотел бы только дать тебе эту историю совсем голою, не украшая ее предисловием и не сопровождая ее по обычаю обязательным каталогом кучи сонетов, эпиграмм и эклог, который имеют привычку помещать в заголовке книг; потому что, я тебе откровенно признаюсь, хотя составление этой истории и представляло для меня некоторый труд, еще более труда стоило мне написать это предисловие, которое ты читаешь в эту минуту. Не один раз брал я перо, чтобы написать его, и затем опять клал, не зная, что писать. Но вот в один из таких дней, когда я сидел в нерешимости, с бумагой, лежащей предо мною, с пером за ухом, положив локоть на стол и опершись щекою на руку, и размышлял о том, что мне написать – в это время неожиданно входит один из моих друзей, человек умный и веселого характера, и, видя меня так сильно озабоченным и задумавшимся, спрашивает о причине этого. Я, ничего не скрывая от него, сказал ему, что я думал о предисловии к моей истории Дон-Кихота, – предисловию, которое меня так страшит, что я отказался уже его написать, а, следовательно, и сделать для

всех известными подвиги такого благородного рыцаря. «Потому что, скажите, пожалуйста, как мне не беспокоиться о том, что скажет этот древний законодатель, называющийся публикою, когда он увидит, что, проспав столько лет в глубоком забвении, я снова теперь появляюсь старый и искалеченный, с историей сухою, как тростник, лишенной вымысла и слога, бедной остроумием и, кроме того, не обнаруживающей никакой учености, не имеющей ни примечаний на полях, ни комментариев в конце книги, тогда как я вижу другие произведения, хотя бы и вымышленные и невежественные, так наполненные изречениями из Аристотеля, Платона и всех других философов, что читатели приходят в удивление и считают авторов этих книг за людей редкой учености и несравненного красноречия? Не так же ли бывает и тогда, когда эти авторы цитируют священное писание? Не называют ли их тогда святыми отцами и учителями церкви? Кроме того, они с такою щепетильностью соблюдают благопристойность, что, изобразив влюбленного волокиту, непосредственно же за этим пишут очень милую проповедь в христианском духе, читать или слушать которую доставляет большое удовольствие. Ничего этого не будет в моей книге; потому что для меня было бы очень трудно делать примечания на полях и комментарии в конце книги; кроме того, я не знаю авторов, которым я мог бы при этом следовать, чтобы дать в заголовке сочинения список их в алфавитном порядке, начиная с Аристотеля и оканчивая Ксенофонтом или, еще лучше, Зоилом и Зевксисом, как это делают все, хотя бы первый был завистливым критиком, а второй – живописцем. Не найдут в моей книге и сонетов, составляющих обыкновенно начало книги, по крайней мере сонетов, авторы которых были бы герцоги, маркизы, графы, епископы, знатные дамы или прославленные поэты; хотя, по правде сказать, если бы я попросил двух или трех из моих услужливых друзей, то, наверное, они дали бы мне свои сонеты и притом такие, что сонеты наших наиболее известных писателей не могли бы выдержать сравнения с ними.

«В виду всего этого, милостивый государь и друг мой», – продолжаю я – «я решил, чтобы сеньор Дон-Кихот оставался погребенным в архивах Ламанчи, пока не будет угодно небу послать кого-нибудь, который мог бы снабдить его всеми недостающими ему украшениями; потому что при моей неспособности и недостатке учености, я чувствую себя не в силах сделать это и, будучи от природы ленивым, имею мало охоты делать изыскания в авторах, которые говорят то же самое, что и сам я могу очень хорошо сказать без них. Вот отчего и происходят моя озабоченность и моя задумчивость, в которых вы меня застали и которые, без сомнения, теперь оправдали в ваших глазах моими объяснениями».

Выслушав это, мой друг ударил себя рукой по лбу и, разразившись громким смехом, сказал: «Право, мой милый, вы сейчас вывели меня из одного заблуждения, в котором я постоянно находился с того давнего времени, как я вас знаю: я вас всегда считал человеком умным и здравомыслящим, но теперь я вижу, что вы так же далеки от этого, как земля далека от неба... Как может случиться, чтобы такие пустяки и такая маловажная помеха имели силу остановить и держать в нерешимости такой зрелый, как ваш, ум, привыкший побеждать и превосходить другие более серьезные трудности? Поистине, это происходит не от отсутствия таланта, а от излишка лености и недостаточности размышления. Хотите видеть, что все сказанное мной верно? Хорошо, послушайте меня и вы увидите, как я во мгновение ока восторжествую над всеми трудностями и найду вам все, чего как недостает; я уничтожу все глупости, которые вас останавливают и настолько пугают, что даже мешают, по вашим словам, опубликовать и подарить миру историю вашего знаменитого Дон-Кихота, совершеннейшее зеркало всего странствующего рыцарства». – «Говорите же, – возразил я, выслушав его, – как думаете вы наполнить эту пугающую меня пустоту и расчистить этот хаос, в котором я не вижу ничего, кроме путаницы?»

Он мне ответил на это: «Что касается первого затрудняющего вас обстоятельства, этих сонетов, эпиграмм и эклог, которых вам недостает, чтобы поставить в заголовке книги, и которые, как желали бы вы, должны быть составлены важными и титулованными лицами, то я вам

укажу средство: вам стоит только взять на самого себя труд написать их, а потом вы можете окрестить их тем именем, какое вам понравится, приписав их или пресвитеру Индии Хуану или императору Трапезондскому, которые, как я положительно знаю, были превосходные поэты: а если бы это было и не так, и если бы придиричivé педанты вздумали неожиданно уязвить вас, оспаривая это уверение, то ни на мараведис не заботьтесь об этом; допуская даже, что ложь заметят, ведь вам не отрежут за то руки, написавшей ее».

«Для того же, чтобы на полях привести книги и авторов, откуда вы почерпнули достопамятные изречения и слова, которые вы поместите в своей книге, вам нужно только устроить так, чтобы при случае употребить какие-нибудь из латинских изречений, которые вы знали бы на память или могли бы без большого труда отыскать их. Например, говоря о свободе и рабстве, вы приводите:

Non bette pro toto libertas venditur auro,

и сейчас же на полях помечаете Горация или того, кто это сказал. Если вы говорите о силе смерти, тотчас же представляются стихи:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
Regumque turres.

«Если говорится о расположении и любви, которые Бог повелеваем вам иметь к нашим врагам, то немедленно Вы обращаетесь к священному писанию, это стоит труда, и приводите не более, не менее, как слова самого Бога: Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros. Если вопрос касается дурных мыслей, то вы прибегаете к евангелию: De corde exeunt cogitationes malae. Если – непостоянства друзей, то Катон дает вам свое двустишие:

Donec eris felix, multos numerabis amicos;
Tempera si fuerint nubila, solus eris.

«И благодаря этим латинским и другим подобным фразам, вас сочтут, по крайней мере, за гуманиста, что в наше время считается не малою честью и значительным преимуществом.

«Для того, чтобы поместить в конце книги примечания и комментарий, вот каким образом можете вы поступать совершенно спокойно: если вам приходится назвать в вашем сочинении какого-нибудь великана, то сделайте так, чтобы это был великан Голиаф, и, благодаря этому, вы с небольшим трудом получите великолепный комментарий; вы можете сказать: Великан Голиат или Голиаф был филистимлянин, которого пастух Давид убил одним ударом пращи в долине Терebinтской, как это рассказано в книге Царей, глава... и здесь указание главы, в которой находятся эта история, после этого, чтобы показан себя человеком ученым и хорошим космографом, устроите таким образом, чтобы в вашей книге была упомянута река Того, и вот в вашем распоряжении превосходный комментарий; вам стоит только сказать: Река Того, названная так в честь одного древнего испанского короля, берет исток в таком то месте и впадает в океан, омыв стены славного города Лиссабона. Уверяют, что она несет золотые пески и т. д. Если вы говорите о разбойниках, то я расскажу вам историю Како, которую знаю наизусть, если – о женщинах легких нравов, то епископ Мондовьедо представит вам Ламию, Лаиду и Флору, и это примечание доставит вам большое уважение; если о жестоких женщинах, то Овидий даст вам Медею; если о чародейках или волшебницах, – Гомер заставит явиться пред вами Калипсо, а Виргилий – Цирцею; если – о доблестных полководцах, то Юлий Цезарь предложит вам самого себя в своих комментариях и Плутарх даст вам тысячу Александров. Когда вы говорите о любви, то советуйтесь с Леоном Гебрео, если вы только знаете хотя несколько слов

по-итальянски, и вы найдете все нужное в полной мере, если же вам неприятно обращаться к иностранному, то у вас под руками трактат Фонсеки О любви Бога, который заключает все, что вы только можете пожелать и что мог бы пожелать самый разумный человек относительно этого предмета. Одним словом приводите только эти имена и упоминайте в вашей истории те истории, которые я только что вам сказал, и поручите мне примечания и комментарии; я берусь наполнить ими все поля вашей книги и даже несколько листов в конце ее.

«Перейдем теперь к этим ссылкам на авторов, имеющимся в других сочинениях и отсутствующим в вашем. Средство исправить это – одно из самых легких: вам достаточно отыскать книгу, которая приводила бы их всех от А до Z, как вы говорите, и эту же самую азбуку поместите вы в вашем произведении. Предположим, что это воровство откроют, и эти авторы принесут вам только посредственную пользу, – какое вам до этого дело? А может быть, попадется такой простодушный читатель, который подумает, что вы со всех их собрали дань, в своей простой и бесхитростной истории. Хорошо и то, что этот длинный перечень авторов придаст на первый взгляд книге некоторую авторитетность. И, кроме того, кому придет в голову, если он не имеет к тому интереса, проверять, пользовались мы ими или нет? Сверх того, если я не обманываюсь, ваша книга не имеет надобности ни в чем из всего того, что, как вы говорите, ей недостает; потому что, ведь она от доски до доски ничто иное, как сатира на рыцарские книги, – о которых Аристотель ничего не знал, Цицерон не имел ни малейшего понятия, и святой Василий не сказал ни слова».

«Нет надобности смешивать эти фантастические вымыслы с точною истиною или с астрономическими вычислениями. Мало значения имеют для них геометрические измерения и суждения педантичной риторики. Разве они имеют целью кого-нибудь поучать, представляя смесь божественного с греховным, – смесь непристойную, которой должен избегать всякий истинно христианский ум? Надо подражать только в слог, и, чем полнее будет ваше подражание, тем ближе будет ваш слог к совершенству. И, так как ваше сочинение имеет только целью разрушить то странное доверие, которым пользуются в мире рыцарские книги, то какая нужда вам выпрашивать изречения у философов, наставления у священного писания, басни у поэтов, речи у риториков и чудеса у святых? Старайтесь только легко и естественно, употребляя соответствующие, ясные и хорошо расположенные слова, сделать вашу фразу гармоничной и рассказ занимательным; пусть язык ваш описывает насколько возможно живо все, что вы задумали, и пусть он выражает ваши мысли, не затемняя и не запутывая их. Старайтесь только, чтобы, читая вашу историю, меланхолики не могли удержаться от смеха, люди, склонные к смеху, чувствовали свою веселость удвоившейся, чтобы простые люди не соскучились от ваших вымыслов, чтобы умные им удивлялись, серьезные особы не пренебрегали ими, и мудрецы были вынуждены похвалить их. Наконец, попытайтесь ловко разрушить эти шаткие подмостки рыцарских книг, столькими людьми проклинаемых, но еще большим числом их восхваляемых. Если вам это удастся, то вы приобретете не малую заслугу».

Я безмолвно выслушал то, что говорил мне мой друг, и его доводы произвели на меня такое сильное впечатление, что я, без всякого спора, признал их превосходство и решил составить это предисловие, в котором ты узнаешь, мой милый читатель, ум и здравый рассудок моего друга, мое счастье находить в такой крайней нужде подобного советника, и преимущество, которое ты извлечешь, найдя во всей ее простоте историю славного Дон-Кихота Ламанчского, бывшего, по мнению жителей округа Монтиэльской долины, самым целомудренным любовником и самым храбрым рыцарем из всех, каких только видели в течение многих лет в этой местности. Я не хочу слишком хвалиться услугой, которую я тебе оказываю, знакомя с таким замечательным и благородным рыцарем; но ты, надеюсь, будешь мною доволен за то, что я познакомил тебя с его оруженосцем Санчо Панса, в котором, как мне кажется, я представляю тебе собрание всех блестящих качеств оруженосца, остававшихся до сих пор рассеянными в

неисчислимой куче пустых рыцарских книг. А затем, да сохранит тебе Бог здоровье и мне также. Vale!

ГЛАВА I

Рассказывающая о характере и привычках славного Дон-Кихота Ламанчского

В одном местечке Ламанчи – об имени его мне не хочется вспоминать – жил недавно один из тех гидальго, у которых имеются копье в козлах, старинный круглый щит, тощий конь и борзая собака. Мясное блюдо, состоявшее чаще из говядины, чем из баранины¹ и соус с приправами почти каждый вечер, блюдо скорби печали² по субботам, чечевица по пятницам, и, сверх всего, несколько молодых голубей по воскресеньям, все это поглощало три четверти его дохода. Остальную часть он тратил на кафтан из тонкого сукна, на штаны из плиса и туфли из той же материи для праздников; в будни же носил платье из прочного, однако не особенно толстого сукна. У него жили экономка, которой было уже за сорок лет, племянница, не имевшая еще и двадцати лет, и молодой парень для полевых работ и других поручений, умевший и оседлать лошадь и работать садовым ножом. Нашему гидальго, было лет под пятьдесят; он был крепкого телосложения, сухощав телом, тощ лицом, очень рано вставал и был большим охотником. Говорили, что он назывался Кихада или Кесада (между авторами, писавшими о нем, существует разногласие по этому вопросу); но по наиболее вероятным догадкам, имя его было, кажется, Кихана. Впрочем, для нашей истории это имеет мало значения: достаточно того, чтобы в рассказе ли на йоту не удаляться от истины.

Но надо знать, что вышеупомянутый гидальго в минуты своего досуга, то есть почти круглый год, предавался чтению рыцарских книг и притом с таким увлечением и такою страстью, что почти совершенно забывал охотничьи забавы и даже управление своим имением. Наконец, его мания, его сумасбродство в этом дошли до того, что он продал несколько десятин своей лучшей земли, чтобы закупить рыцарских книг для чтения, и собрал их в своем доме столько, сколько мог достать. Но из всех книг ни одна не казалась ему так интересна, как сочинения знаменитого Фелициана-де-Сильва; так как ясность его прозы его восхищала, а запутанные периоды были для него настоящими драгоценностями, в особенности, когда ему приходилось читать объяснения в любви или вызовы в письмах, где он довольно часто находил выражения в роде следующих: безрассудное суждение о моем рассуждении в такой степени колеблет мое суждение, что я не без рассуждения сожалею о вашей грации и красоте; или он читал: высокие небеса, которые помощью звезд вашу божественность божественно укрепляют и делают вас заслуживающими тех заслуг, которых заслуживает ваше величие.

Читая такие прекрасные вещи, бедный гидальго терял рассудок. Он лишился сна, стараясь понять их, пытаясь извлечь какой-либо смысл со дна этих хитросплетений – этого не удалось бы сделать и самому Аристотелю, если бы он нарочно воскрес для этого. Он был только наполовину доволен ранами, нанесенными и полученными Дон-Белианисом, и представлял себе, что, несмотря на все искусство врачей, которые лечили его, Дон-Белианис необходимо должен был иметь все тело и лицо покрытые рубцами и ранами. Но, тем не менее, он одобрял остроумный способ автора оканчивать свою книгу обещанием продолжения этих нескончаемых приключений. Ему даже часто приходила охота взяться за перо и окончить книгу, как обещал это автор; и, без сомнения, он бы это сделал и благополучно исполнил, если бы другие, более великие мысли не мешали ему постоянно. Несколько раз спорил он с местным священ-

¹ Баранина в Испании дороже говядины.

² Так называлось кушанье из потрохов животных, которое кастильские дворяне обыкновенно ели по субботам в исполнение обета, данного после битвы при Лас-Навас-де-Толоза.

ником, мужем начитанным и получившим ученую степень в Силуэнце,³ по вопросу о том, кто был лучшим рыцарем – Пальмерин Английский или Амадис Гальский. Но сеньор Николай, цирюльник из той же деревни, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба и если с этим и может кто-нибудь сравниться, так это дон-Галаор, брат Амадиса Гальского; потому что он, поистине, обладал всеми желательными качествами, не будучи ни кривлякой, ни плаксой, как его брат, и, по крайней мере, равнялся ему в храбрости.

Короче сказать, наш гидальго так углубился в чтение, что проводил за этим занятием и день с утра до вечера, и ночь с вечера до утра, и, благодаря чтению и бессоннице, он так иссушил свой мозг, что лишился разума. Его воображению рисовалось все, что он читал в своих книгах: волшебные чары, ссоры, вызовы, битвы, раны, объяснения, любовь, жестокости и прочие безумства; он крепко забрал себе в голову, что вся эта куча бредней была сущей истиной, и потому для него во всем мире не существовало никакой другой более достоверной истории. Он говорил, что Сид-Рюи-Диац был прекрасный рыцарь, но что ему было все-таки далеко до рыцаря Пламенного Меча, который одним ударом перерубил пополам двух огромных и свирепых великанов. Он питал больше симпатии к Вернардо дель-Карпио за то, что в Ронсевальской долине он умертвил Роланда Очарованного, употребив при этом прием Геркулеса, который задушил Антея, сына Земли, в своих объятиях. Он также очень хорошо отзывался о великане Морганте, который, хотя и происходил из породы великанов, всегда отличавшейся заносчивостью и гордостью, однако представлял исключение и был любезен и хорошо воспитан. Но всем им он предпочитал Рейнальда Монтальванского, в особенности, когда он представлял его себе выходящим из замка грабить всех, кто попадется по дороге, или похищающим по ту сторону пролива идол Могомета, отлитый из золота, как утверждает история. Что же касается этого изменника Гамелона, то за возможность порядком поколотить его, он охотно отдал бы свою экономку и даже племянницу в придачу.

Наконец, когда он окончательно потерял рассудок, ему пришла в голову самая странная из всех мыслей, которым когда либо предавались сумасшедшие; она заключалась в следующем: ему казалось полезным и даже необходимым, как для своего личного прославления, так и для блага родины, сделаться самому странствующим рыцарем и, на кони и с оружием в руках, отправиться по свету искать приключений, проделывая все то, что, как он читал, проделывали странствующие рыцари, исправлять всякого рода несправедливости и постоянно подвергаться все новым и новым опасностям, преодолевая которые он мог бы приобрести себе бессмертное имя. Наш бедный мечтатель уже видел чело свое увенчанным короной и притом короной, по крайней-мере, Трапезондской империи. Поэтому, полный этих приятных мыслей и ощущаемого от них удовольствия, он поспешил приняться за исполнение своего проекта. И первым его делом было вычистить доспехи, которые принадлежали его предкам и которые, изъеденные ржавчиной и покрытые плесенью, в течение веков покоились забытыми в углу. Он вычистил и поправил их, на сколько мог, хорошо. Но, заметив, что этому вооружению недостает очень важной вещи и что, вместо полного шлема у него имелся только один шишак, он, помощью своего искусства, устранил и этот недостаток: он сделал из картона нечто вроде полу-шлема, приделал к нему шишак, и в его глазах он явился целым шлемом. Надо сказать правду, что когда он, для испытания его прочности извлек свой меч и нанес шлему два удара, то первый же удар уничтожил работу целой недели. Легкость, с какою он обратил свой шлем в куски, не совсем ему понравилась; и для того, чтобы надежно предохранить себя от подобной же гибели, он, принявшись снова за его восстановление, снабдил его внутри железными полосами с целью придать ему достаточную прочность. Нового испытания он делать не пожелал и принял его пока за настоящий шлем с забралом самого лучшего закала.

³ В то время в Испании было только два больших университета – в Саламанке и Алькале. Следовательно, об ученой степени священника Сервантес говорит с иронией.

После этого, он осмотрел своего коня; и хотя у бедного животного пороков было больше, чем членов тела, и более жалкий вид, чем у лошади Гонила⁴ которая *tantum pellis et ossa fuit*, тем не менее, нашему гидальго казалось, что ни Буцефал Александра Великого, ни Бабиэка Сида не могли сравниться с его коним. Он в течение четырех дней старался решить, какое имя дать ему; потому что, как говорил он себе, было бы несправедливостью, если бы лошадь такого славного рыцаря, и сама по себе такая замечательная, осталась без имени, под которым она впоследствии сделалась бы известной; и он ломал себе голову, пытаясь изобрести такое имя, которое указывало бы, чем она была до того времени, пока не стала принадлежать рыцарю, и чем она стала потом. Сверх того, нет ничего более справедливого, как то, чтобы конь менял свое название, и принял бы новое, блестящее и звучное, как это приличествует новому порядку вещей и новому ремеслу, которое ему предстояло. Таким образом, после изрядного количества имен, который наш гидальго в своем уме и воображении поочередно составлял, отбрасывал, укорачивал, удлинял, разъединял и вновь соединял, ему, наконец, удалось назвать своего коня Россинантом – именем, по его мнению, замечательным, гармоничным и многозначительным, бесподобно выражающим и то, чем лошадь была прежде, и то, чем она будет постоянно в будущем, – то есть первым из всех коний в мире.

Выбрав так счастливо имя для своего коня, он пожелал дать имя и самому себе, и изобретению его он посвятил еще восемь дней, по истечении которых он решил назваться Дон-Кихотом; вот благодаря этому-то, авторы этой правдивой истории, а также и другие, имели впоследствии повод утверждать, что он назывался Кихада, а не Кесада. Но, вспоминая, что доблестный Амадис не довольствовался одним только именем Амадиса, но к своему имени прибавил также и название своей родной страны, чтобы прославить и ее, и называл себя Амадисом Гальским, наш гидальго, как истинный рыцарь, решил тоже прибавить к своему имени имя своей родины и назваться Дон-Кихотом Ламанчским. Таким образом, он, как нельзя лучше, по его мнению, обозначал и свое происхождение и свою родину и воздавал почтение этой последней, делая из ее имени свое прозвище. После того, как он вычистил вооружение, сделал из шишака целый шлем, дал имя лошади и исправил свое собственное, он убедился, что ему остается только найти даму и влюбиться в нее; потому что странствующий рыцарь без любви был бы подобен дереву без листьев и плодов, телу без души. Он говорил себе: «Если в наказание за мои грехи, или, вернее, вследствие благосклонности судьбы я встречу когда-нибудь с великаном, как это обыкновенно случается с странствующими рыцарями, и если я, при первой же стычке, собою его с лошади или перерублю пополам или, наконец, покорю его и пощажу ему жизнь, то хорошо было бы для такого случая иметь даму, в распоряжение которой было бы можно послать его; тогда он, войдя к моей милой даме и преклонив пред ней колени, сказал бы ей голосом робким и покорным: «Сеньора, я великан Каракулиамбро, господин острова Малиндрапия, побежденный на поединке превосходящим все похвалы рыцарем Дон-Кихотом Ламанчским, который приказал мне представиться вашей милости, чтобы ваше величие могло располагать мною, как вам будет угодно». О, как восхищался наш рыцарь этой мыслью, в особенности, когда он нашел ту, которую он мог назвать своей дамой! Это была, как рассказывают, молоденькая и очень хорошенькая крестьянка из соседней деревни; он в короткое время пленился ею, чего она так-таки никогда и не узнала и на что менее всего обращала внимание. Имя ее было Альдонса Лоренсо. Ей он и рассудил пожаловать титул госпожи его дум; и поискав для нее имени, которое, не разнясь значительно с его именем, представляло бы ее, как знатную даму и принцессу, – он, наконец, назвал ее Дульцинейей Тобозской, так как ее родная деревня называлась Тобозо. Это имя, по его мнению, было необыкновенно удачно выбрано, гармонично и многозначуще, как и другие имена, данные им своему коню и самому себе.

⁴ Шут герцога Борзо-де-Фирраре, живш. в XV ст.

ГЛАВА II

Рассказывающая о первом выезде, сделанном славным Дон-Кихотом из своей страны

Окончив эти приготовления, он не хотел далее откладывать исполнения своего плана; потому что его и так уже угнетала мысль, что это дальнейшее откладывание явилось бы большим злом для мира, в котором, по его мнению, накопилось слишком много оскорблений, жаждущих удовлетворения, зла и несправедливостей, требующих возмездия, злоупотреблений, ждущих исправления, и долгов, подлежащих уплате. Вот почему, не поверив ни одной живой душе своего намерения и никем незамеченный, он утром одного из самых жарких дней поля вооружился всеми доспехами, сел на Россинанта, украсив предварительно свою голову сделанным им как-никак шлемом, надел на руку свой щит, взял копье и через ворота заднего двора выехал в поле, полный радости при мысли о том, с какой легкостью он начал осуществлять такой прекрасный проект. Но едва только очутился он в поле, как его охватило страшное раздумье – раздумье, едва не оказавшееся настолько сильным, чтобы заставить его покинуть начатое предприятие: ему пришло на ум, что он не был посвящен в рыцари и поэтому он не мог и не должен был вступать в поединок ни с каким рыцарем; и что, если бы он даже и был посвящен, то, как новопосвященный, он обязан был носить белое вооружение, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит этого девиза своею храбростью. Эти мысли поколебали его решимость; но его безумие одержало верх над всеми размышлениями, и он решил заставить первого встречного посвятить его в рыцари, в подражание многим другим находившимся в подобном же положении и, как он прочитал в книгах, поступавшим именно таким образом; что же касается белого вооружения, то он дал себе обещание при первом же случае так натереть свое собственное, чтобы оно стало белее горностаевого меха. После этого он успокоился и продолжал свой путь, лежавший именно туда, куда желал конь, так как в этом, по мнению Дон-Кихота, состояла вся доблесть приключений.

И вот, направляясь своим путем, наш новоиспеченный искатель приключений разговаривал сам с собою: «Могу ли я сомневаться, что в недалеком будущем, когда напечатается истинная история моих славных подвигов, мудрец, описавший их, рассказывая о моем первом раннем выезде, выразится таким образом: «Лишь только светлый Феб успел разбросать по лицу необозримой земли золотые кудри своих прекрасных волос, лишь только маленькие птички с блестящими перышками запели на своих легких языках тихую, прелестную песенку, приветствуя появление розоперстой Авроры, которая, покинув мягкое ложе своего ревнивого супруга, показалась для смертных с высоты кастильского горизонта, – как славный Дон-Кихот Ламанчский, оставив ложе бездействия, сел на своего славного коня Россинанта и отправился в путь по древней и знаменитой Монтиэльской долине». Действительно, в этот момент он находился в этой долине; потом он прибавил: «Счастлив, трижды счастлив век, который увидит появление рассказа о моих славных подвигах, достойных быть выгравированными на бронзе, высеченными на мраморе и изображенными красками на дереве, чтобы на всегда остаться живыми в памяти будущих веков!.. О ты, кто бы ты ни был, мудрец волшебник, которому небом суждено написать эту чудную историю, не забывай, прошу тебя, моего доброго Россинанта, вечного моего сотоварища во всех моих подвигах и скитаниях». Потом он снова начал, как будто бы он был действительно влюблен: «О, принцесса Дульцинея, владычица этого плененного сердца! какой удар нанесли вы мне, удалив меня от себя со строгим запрещением никогда не появляться в присутствии вашей красоты! Удостоите, о сеньора, вспомнить об этом верноподданном сердце, из любви к вам испытывающем столько мучений!» К этим глупостям он еще прибавил другие в том же роде, составленные по образцу прочитанных им в своих кни-

гах, языку которых он, насколько мог, старался подражать. А между тем он ехал так медленно, солнце же поднималось так быстро и грело с такою силою, что могло бы растопить ему мозг, если такового хоть немного осталось у него.

Он проехал целый день, не встретив ничего, что стоило бы рассказывать, и это приводило его в отчаяние, потому что ему хотелось возможно скорей встретить кого-нибудь, на ком бы он мог испытать силу своей могучей руки. Некоторые авторы говорят, что первое его приключение случилось в Лаписском проходе. По словам же других первое приключение было с ветряными мельницами. Но что я могу положительно сказать относительно этого предмета и что я нашел засвидетельствованным в летописях Ламанчи, это то, что он мирно проехал весь этот день и при наступлении ночи и он сам и конь его были истомлены усталостью и умирали от жажды. Посматривая во все стороны в надежде увидеть какой-нибудь замок или хотя бы хижину пастуха, где бы он мог найти ночлег и что-нибудь для утоления голода и страшной жажды, он заметил недалеке от своей дороги постоялый двор, сиявший в глазах его подобно звезде, ведущей к спасительной гавани. Подогнав коня; он поспел туда к ночи. У ворот случайно были две довольно молодых женщины из тех, которых называют продажными; они шли в Севилью вместе с погонщиками мулов, решившими на эту ночь остановиться на постоялом дворе. И так как все, что видел или чем бредил наш искатель приключений, представлялось ему повторением того, что он вычитал в рыцарских книгах, то и при виде постоялого двора, он вообразил себе, что это замок с четырьмя башнями и с капителями из блестящего серебра, у которого и подъемные мосты, и рвы, и все другие принадлежности, всегда встречающиеся в описаниях подобных замков. Он приблизился к постоялому двору, принимаемому им за замок, и, когда был уже недалеко от него, попридержал за узду Россинанта в ожидании, что вот появится карлик между стенными зубцами и звуком рога подаст сигнал о приближении рыцаря к замку. Но, видя, что карлик медлит появиться, а Россинант спешит в конюшню, он приблизился к воротам и увидел стоявших там двух погибших женщин, которые показались ему прекрасными благородными девицами или дамами, развлекавшимися перед воротами дома.

В этот момент, по милости случая, один свинопас, собиравший в полях стадо свиней (не моя вина, они так называются), задудел в рожок, на звук которого собираются эти животные; и тотчас же Дон-Кихот вообразил, как ему это хотелось, что карлик возвещает его прибытие. Поэтому, полный радостного чувства, он приблизился к постоялому двору и дамам. Эти же, видя приближающегося человека, вооруженного с головы до ног, с копьем и щитом, поспешили в испуге вбежать в дом; но Дон-Кихот, понимая чувство, обратившее их в бегство, поднял картонное забрало и, открывая свое сухое и запыленное лицо, с любезным видом и почтительным голосом, проговорил, обращаясь к ним: «Пусть сеньоры не спешат убежать и не опасаются с моей стороны никакой обиды; потому что в уставах рыцарства, строго соблюдаемых мною, считается неприличным и недозволенным обижать кого-либо, в особенности, девиц такого высокого происхождения, как я могу заключить по вашему виду». Женщины поглядели на него и старались через плохое забрало разглядеть лицо его. Но когда они услышали, что он их называет «девицами» — именем, не подходящим к их положению, то они не могли удержаться от смеха; это, наконец, рассердило Дон-Кихота и он им сказал: «Вежливость свойственна красоте, бесосновательный же смех неприличен... Но я говорю это не для того, чтобы обидеть вас или нарушить ваше веселое настроение, так как я готов, чем могу, служить вам». Такой язык, совершенно новый для этих дам, и странная фигура нашего рыцаря могли только еще более возбудить их смех; его гнев от этого только увеличился; и дело могло бы принять дурной оборот, если бы в эту самую минуту не появился хозяин постоялого двора, человек чрезвычайно полный и, следовательно, очень миролюбивый, который, видя эту странную фигуру в смешном и таком разнокалиберном вооружении, как его копье, щит и нагрудник, готов был тоже принять участие в смехе двух девиц. Однако, немного уstraшенный этими военными снарядами, он

решился говорить вежливо с незнакомцем: – Если ваша милость, господин рыцарь, – сказал он ему, – ищите ночлега, то, за исключением постели, потому что на этом постоялом дворе нет ни одной постели, все остальное вы найдете в изобилии, – Дон-Кихот, видя кротость начальника крепости – именно такими казались ему постоялый двор и его хозяин – отвечал:

– Для меня, господин кастелян, достаточно того, что есть, потому что: мой наряд – оружие, мой отдых – битвы и пр.⁵

Хозяин подумал, что незнакомец потому назвал его кастеляном, что принял его за беглеца из Кастилии, тогда как он был андалузцем, притом из Сан-Лукана, мошенником не менее самого Како и таким же проказником, как какой-нибудь школьник или паж; поэтому он ему ответил:

– Поэтому ложем вашей милости должна быть твердая скала, и вашим сном постоянное бодрствование.⁶ Если это так, то вы можете остановиться в полной уверенности, что вы найдете здесь тысячу причин против одной, чтобы не спать не только одну ночь, но целый год.

Говоря это, он придержал стремя Дон-Кихоту, который слез с лошади с большим трудом и усилиями, как человек не евший со вчерашнего дня. Он немедленно же попросил хозяина очень заботливо обходиться с его конем, потому что это было лучшее животное, которое когда-либо ело ячмень на этом свете. Хозяин осмотрел лошадь, но не нашел ее даже на половину хорошей, сравнительно с тем, как описывал ее Дон-Кихот. Это, впрочем, не помешало ему отвести ее в конюшню и позаботиться об удовлетворении ее потребностей; после этого он возвратился, чтобы узнать, чего желает гость. Между тем девицы, примирившиеся уже с Дон-Кихотом, занимались освобождением его из под вооружения; но, стащив с него броню и нашейник, они никак не могли расстегнуть и снять несчастный шлем, который наш рыцарь привязал зелеными лентами. За невозможностью развязать эти ленты, необходимо было их перерезать; но Дон-Кихот ни за что не хотел на это согласиться и предпочел лучше всю эту ночь пробыть со шлемом на голове, представляя из себя самую страшную и самую забавную фигуру, какую только можно вообразить. В продолжение этой церемонии, вполне убежденный, что веселые девицы, разоблачавшие его, были знатными дамами замка, он, с неподражаемой любезностью, говорил им:

«Никто из рыцарей не видел,
Чтобы ему так служили дамы,
Как это пришлось видеть Дон-Кихоту,
Когда он уехал из своей деревни:
Благородные девицы заботились о нем,
И принцессы о его кони⁷».

– Россинант – так называется мой конь, меня же самого зовут Дон-Кихотом Ламанчским. Я дал себе обещание не открывать своего имени раньше, чем меня откроют подвиги, совершенные в честь вашу, и только желание применить к настоящим обстоятельствам этот старый романс о Ланселоте было причиною того, что вы узнали мое имя ранее назначенного времени. Но настанет время, благородные госпожи, когда вы дадите мне повеления и когда я буду иметь счастье им повиноваться, и мужество моей руки покажет вам, как сильно мое желание быть вашим слугою. – Обе девицы, не привыкшие к подобного рода ретортке, не отвечали ему ни слова. Они удовольствовались тем, что спросили, не хочет ли он поесть чего-нибудь.

⁵ Из старинного испанск. романа.

⁶ Оттуда-же.

⁷ Сервантес приводит старый романс, заменив имя Ланселот – Дон-Кихотом.

– Я буду охотно есть все, что только подадут, – отвечал Дон-Кихот, – и мне кажется, что все поданное будет кстати.

К несчастью, это происходило в пятницу, и на постоялом дворе нашлось только несколько кусков сушеной рыбы, называемой, смотря по местности, трескою, форелькою. Его спросили, согласится ли его милость есть форельку, потому что только эту рыбу могут предложить ему.

– Некоторое число форелек, – отвечал Дон-Кихот, – равняется одной форели, потому что разницы не будет, дадут ли мне восемь монет по одному реалу каждая, или одну монету в восемь реалов. Форелька может быть еще лучше форели, как мясо теленка нежнее мяса быка, а мясо козленка нежнее мяса козы. Но чтобы там ни было, пусть только поскорее приносят; потому что, чтобы выдерживать усталость и тяжесть оружия, надо, как следует удовлетворить желудок.

Для него накрыли стол на открытом воздухе, у ворот постоялого двора, и хозяин принес ему порцию трески, плохо приправленной и еще хуже вываренной; и хлеба такого же черного и такого же заплесневелого, как оружие Дон-Кихота. Смешно было смотреть, как он ел; потому что, имея на голове шлем с поднятым забралом, он ничего не мог подносить ко рту своими руками, и нужно было, чтобы кто-нибудь другой кормил его. Но дать ему напиться оказалось ни для кого невозможным; и это так никогда и не удалось бы, если бы хозяин не догадался сделать из тростника трубку и, вставив один ее конец ему в рот, через другой наливать вина. Все это наш рыцарь переносил с терпением, лишь только бы не резать лент шлема. В это время к постоялому двору пришел какой-то свинопас, который при этом пять или шесть раз свистнул в свою тростниковую дудку. Это окончательно убедило Дон-Кихота, что он находится в каком-нибудь знаменитом замке, что во время послеобеденного отдыха его слух улаживают музыкой, что так называемая форелька была настоящая форель, хлеб был испечен из лучшей пшеницы, веселые девицы были благородные дамы, и хозяин двора был кастелян замка. Так радовался он завершению своего первого выезда. Единственным беспокоившим его обстоятельством было то, что он еще не был посвящен в рыцари; потому что, по его мнению, не получив рыцарского звания, он, конечно, не мог пускаться ни в какое приключение.

ГЛАВА III

В которой рассказывается, каким забавным способом Дон-Кихот был посвящен в рыцари

Мучимый этой мыслью, он поспешил съесть свой тощий ужин; когда же он покончил его, он вызвал хозяина, привел его в конюшню и, оставшись с ним вдвоем, стал перед ним на колени, говоря:

– Я ни за что не подвину с этого места, благородный рыцарь, до тех пор, пока ваша любезность не осчастливит меня одним даром, который я у вас попрошу и который послужит к вашей славе и ко благу коего человеческого рода.

Когда хозяин увидел гостя у своих ног и услышал эти слова, он смотрел на него крайне удивленный, не знал ни что делать, ни что сказать, и пытался было его поднять. Но наш рыцарь не соглашался на это, пока хозяин не обещал ему пожаловать желаемое.

– Я другого и не ожидал от вашей щедрости, – ответил Дон-Кихот, – и теперь я вам объявляю: тот дар, о котором я как прошу и который ваша милость обещали мне, состоит в том, чтобы вы завтра посвятили меня в рыцари. Эту ночь я проведу на страже оружия в часовне вашего замка, а завтра, как я уже сказал, свершится то, чего я так желаю, чтобы иметь возможность отправиться на все четыре стороны света, ища приключения для блага нуждающихся согласно долгу рыцарства и странствующих рыцарей, которых, подобно мне, склонность побуждает к подобного рода подвигам.

Хозяин, бывший, как уже сказано довольно большим хитрецом и начинавший уже подозревать, что мозг его гостя находится не в особенно хорошем состоянии, окончательно убедился в этом, услышав тацит речи. Тем не менее, чтобы можно было позабавиться в эту ночь, он решил притвориться и сказал Дон-Кихоту, что находить его желание и просьбу совершенно разумными, что такое решение совершенно естественно в знатных господах, к которым, судя по благородной наружности, принадлежит и его гость. Он сам будто бы годы своей молодости посвятил этому почетному занятию; он насчитал много разных посещенных им местностей, не забыв назвать Малаги, островов Риаранских, предместий городского округа Севильи, водопровода Сеговии, оливковых садов Валенции, городских валов Гренады, приморских берегов Сан-Лукара, конских заводов Кордовы, кабачков Толедо и других тому подобных местностей, где он проявлял легкость своих рук и ног, совершив кучу мошенничеств, обманув многих вдов и девушек, обокрав нескольких сирот и познакомившись наконец с большей частью судебных и полицейских мест Испании. В конце концов он решил удалиться в свой собственный замок, где и живет на собственные доходы и на доходы других, собирая вокруг себя странствующих рыцарей всех сословий и званий, единственно только из любви, питаемой им к этим людям и из-за того, что они, в награду за его гостеприимство, делятся с ним всем, что имеют. Он прибавил также, что в его замке нет часовни, где бы было можно стать на страже оружия, потому что ее сломали, чтобы выстроить новую; но ему известно, что, в случае надобности, стоять на страже оружия можно всюду, где покажется удобным, и потому его гость может просторочить эту ночь в одном из дворов замка. С наступлением же утра, будут произведены, с Божьей помощью, все желаемые церемонии, так что его дорогой гость после этого может считать себя самым настоящим образом посвященным в рыцари.

Он спросил его, имеются ли у него деньги. Дон-Кихот отвечал, что у него нет с собой ни одного мараведиса, и что он не читал ни в одной истории странствующих рыцарей, чтобы кто-нибудь из них носил с собой деньги. На это хозяин возразил, что он заблуждается; в историях не упоминается об этом только потому, что авторы их не считали нужным писать о таком простом и естественном деле, как о запасе деньгами и чистыми сорочками, и из этого не сле-

дует заключать, чтобы странствующие рыцари не носили с собой денег. Напротив он знает наверно, что все рыцари, рассказами о которых так полны книги, носили с собой на всякий случай туго набитый кошелек, так же как и сорочки и маленький ящичек с мазью для лечения полученных ран; потому что, добавил хозяин, в долинах и пустынях, где им приходится сражаться и получать раны, не всегда может случиться человек, который изъяснил бы готовность перевязать раны, если только у рыцаря нет друга, какого-нибудь мудрого волшебника, который немедленно явился бы на помощь, приведя на облаке по воздуху девицу или карлика со склянкою воды такой силы, что двух или трех влитых капель достаточно, чтобы исцелить раненого совершенно от всяких повреждений. Но, за неимением таких могущественных друзей, старинные рыцари постоянно следили, чтобы их оруженосцы имели при себе деньги и другие необходимые запасы, как корпия и целебная мазь; если у рыцаря не оказывалось оруженосца, что случалось очень редко, то они сами возили все это сзади седла в таких маленьких сумочках, что они с трудом были заметны, как будто бы это был какой-нибудь другой, очень ценный предмет; за исключением же этого случая, возить с собою сумки было не принято у странствующих рыцарей. В виду всего этого он дает ему совет, а если нужно, даже приказание, как своему крестнику по оружию в близком будущем не пускаться с этого времени в путь без денег и без всего остального, и он сам поймет, когда подумает об этом, как может пригодиться эта предосторожность. Дон-Кихот обещал в точности исполнить все его советы.

После этого ему был отдан приказ стать на страже оружия на большом заднем дворе, находившимся рядом с домом; и Дон-Кихот, собрав все части своего вооружения, поместил их в корыте близ колодца. Затем он надел на руку свой щит, взял копье и с воинственным видом начал расхаживать перед водопоем. Когда он начал свою прогулку, наступила ночь. Но хозяин рассказал всем находившимся на постоялом дворе про безумство своего гостя, про стражу оружия и просьбу посвятить его в рыцари. Удивленные странным родом сумасшествия, все наблюдали за Дон-Кихотом издали и видели, как он то прохаживался медленным и размеренным шагом, то, опираясь на копье, устремлял свои взоры на оружие и долго, казалось, не мог их оторвать от него. Ночь окончательно настала; но луна разливала такой свет, что могла бы соперничать со светилом, которое она заменила, и потому все, что делал новопосвящаемый рыцарь, было прекрасно видно всем.

В это время один из остановившихся на этом постоялом дворе погонщиков мулов вздумал дать воды своим мулам, и для этого ему потребовалось снять оружие Дон-Кихота, лежавшее в корыте. Этот, видя, что кто-то приближается, сказал ему громким голосом:

– О, кто бы ты ни был, смелый рыцарь, имеющий намерение прикоснуться к оружию храбрейшего из странствующих рыцарей, которые когда-либо опоясывались мечем, не дерзай прикасаться к моему оружию, если не хочешь поплатиться жизнью за свою смелость. – Но погонщик, себе на беду, не позаботился принять к сведению это предостережение, иначе ему не пришлось бы потом заботиться о своем здоровье, он взял латы за ремни и отбросил их далеко от себя. Увидав это, Дон Кихот поднял глаза к небу и подумал, вероятно, о своей даме Дульцинее; «Помогите мне, моя дама», проговорил он «в этом первом оскорблении, испытанном верным подвластным вам сердцем! Пусть ваша помощь и защита не оставляют меня в минуту этой первой опасности». Произнеся это и несколько других подобных же слов, он отбросил свой щит, поднял обеими руками копье и обрушил такой удар на голову погонщика, что опрокинул его на землю и другим таким ударом навсегда избавил бы его от труда звать врача. Совершив это, он поднял оружие и продолжал свой прогулку с прежним спокойствием.

Минуту спустя, не зная о происшедшем, так как погонщик все еще лежал совершенно оглушенный, один из его товарищей тоже возымел намерение напоить мулов и подошел, чтобы поднять оружие и освободить корыто. Тотчас же, не произнеся ни одного слова, и не попросив ни у кого помощи, Дон-Кихот снова бросил щит, снова поднял свое копье и страшным ударом

чуть не разбил головы погонщика начетверо; на крики сбежались все находившиеся на постоялом дворе и сам хозяин. При виде их, Дон-Кихот надел свой щит и взял в руку меч.

– О, прекрасная дама, – воскликнул он, – укрепи и помоги этому слабому, теряющему мужество сердцу; настала минута, когда твое величие должно обратить своя очи на рыцаря, твоего пленника, которому предстоит такое страшное приключение. – После этого он почувствовал себя одушевленным такою смелостью, что, если бы на него напали все погонщики мулов в мире, он и тогда не отступил бы и на пядь земли. Товарищи раненых, видя их в таком положении, начали осыпать Дон-Кихота градом камней. Он, насколько мог, укрывался щитом, но не отходил от корыта, не желая оставить оружия. Хозяин кричал и просил их оставить рыцаря в покое, так как им уже сказано, что это – сумасшедший и, в качестве сумасшедшего, он не подлежал бы ответственности даже в том случае, если бы он убил всех. С своей стороны Дон-Кихот кричал еще сильнее, называя их бесчестными и изменниками, а владельца замка, позволяющего такое обращение со странствующими рыцарями, – вероломным и наглым рыцарем.

– Если бы я уже получил рыцарское звание, – добавил он, – я бы дал ему почувствовать, что он изменник; а вас подлые и низкие твари, я презираю. Бросайте, подходите и нападайте на меня, собрав все свои силы, и вы дорогою ценою заплатите за такую наглость. – Он говорил это с таким внушительным видом, что нападающие трусили; по крайней мере, уступив с одной стороны страху, с другой, увещаниям хозяина, они перестали бросать камни. Тогда Дон-Кихот допустил убрать раненых и снова начал стражу своего оружия с тем же спокойствием и с тою же невозмутимостью, как и прежде. Хозяину не совсем понравились шутки его гостя; он решил поскорее положить им конец и, пока не случилось другого несчастья, дать ему злочинное рыцарское звание. Поэтому, подойдя к нему, он извинился за наглость, с какою, по его мнению, вели себя эти негодные люди: он совершенно не знал этого, и, кроме того, они достаточно наказаны за свою дерзость. Он повторил, что в замке его нет часовни, но для того, что оставалось сделать, можно было обойтись и без нее.

– Сущность посвящения в рыцари, на сколько я знаю этот церемониал, – добавил он, – состоит в двух ударах по затылку и по плечу; а это можно сделать и среди поля. Что же касается до стражи оружия, то вами исполнено все, что требуется правилами; потому что и двух часов стражи достаточно, вы же просторожили четыре.

Дон-Кихот, в простоте душевной, поверил этому. Он сказал хозяину, что он готов ему повиноваться, и попросил его исполнить все это возможно скорее, добавив, что, если на него нападут вторично, когда он уже будет посвящен в рыцари, то он не оставят ни одной живой души в замке, пощадив из уважения к владельцу замка, только тех, на кого тот укажет. Предупрежденный таким образом и не совсем успокоившийся кастелян отправился за книгой, в которой он записывал расход соломы и ячменя, выдаваемых погонщикам мулов, и в скором времени, сопровождаемый мальчиком, несшим огарок свечи, и двумя, знакомыми нам девицами, возвратился к месту, где его ожидал Дон-Кихот, приказал стать ему на колени, а сам притворился, будто читает в своей книге какую то благоговейную молитву. В середине чтения он поднял руку и дал Дон-Кихоту изрядный удар по затылку. После этого, тем же мечем своего крестника, он ударил его второй раз по плечу, все время бормоча сквозь зубы, как будто бы он читал молитвы. Сделав это, он предложил одной из дам опоясать Дон-Кихота мечем, что та очень охотно и ловко исполнила. Все присутствующие, глядя на эту церемонию, едва удерживались от смеха, но подвиги, совершенные недавно новопосвященным рыцарем, были у всех в памяти и охлаждали желание расхохотаться. Опоясывая его мечем, благородная дама сказала ему:

– Да соделает Бог вашу милость очень счастливым рыцарем и да ниспошлет вам успех во всех битвах! – Дон-Кихот спросил у ней ее имя, желая знать, кому он обязан полученною им милостью, чтобы впоследствии сделать и ее участницей в почестях, которые он приобретет силою своей руки. Она с большою скромностью отвечала, что ее зовут Толозой, что она дочь

толедского портного-старьевщика, торгующего в рядах Санчо-Бьенайа; что, где бы она ни была, она всюду готова ему служить и считать за своего господина. В ответ на это Дон-Кихот просил ее, из любви к нему, принять частицу дон и с этих пор называться донья Толоза. Это ему было обещано сделать. Другая подвязала ему шпоры, и с нею он имел почти такой же разговор, как и с опоясавшей его мечем. Он спросил у ней ее имя; она отвечала, что ее зовут Моливерой, и что она дочь честного аптекарского мельника; на что Дон-Кихот, отдавая себя в распоряжение обеих дам, и ее просил принять частицу дон и называться донья Молинера. Когда эти новые церемонии были совершены на скорую руку, Дон-Кихот не мог бороться с своим нетерпением и желанием видеть себя на коне и отправиться в поиски за приключениями; он поспешно оседлал Россинанта, сел на него и, обняв хозяина, наскзал ему, в благодарность за посвящение в рыцари, таких нелепиц, что мы отказываемся передавать их. Хозяин, желавший, чтобы он как можно скорее убрался с постоялого двора, отвечал на его любезности в том же тоне, хотя и короче и не спрашивая с него денег за постой, с Богом отправил его в путь.

ГЛАВА IV

О том, что случилось с нашим рыцарем по выезде с постоялого двора

Рассвет только что начинался, когда Дон-Кихот выехал с постоялого двора, так довольный и восхищенный своим посвящением в рыцари, что чуть не прыгал на седле. Но вспомнив советы хозяина постоялого двора относительно необходимых запасов, которые он должен захватить с собой в особенности относительно того, что касалось денег и сорочек, он решился возвратиться домой, чтобы запастись всем этим, а также и оруженосцем; в услужение себе он рассчитывал взять одного земледельца, своего соседа, бедного и обремененного детьми, но вполне пригодного, чтобы быть оруженосцем странствующего рыцаря. С этой мыслью он направил своего Россинанта в сторону своей деревни, и этот, как будто почуяв свое стойло, пустился бежать с такою прытью, что, казалось, ноги его не касались земли.

Недолго проехал Дон-Кихот, как ему показалось; что в чаще леса, находившегося у него с правой стороны, раздавались пронзительные крики, как будто кто плакал и жаловался. – Благодарение небу, – сказал он тогда, – за милость, которую оно мне посылает, представляя случай исполнить долг моего звания и пожать плоды моих высоких намерений. Эти крики, без сомнения, идут от какого-нибудь несчастного или несчастной, которые нуждаются в моей помощи и защите. – Он пришпорил Россинанта и направился в ту сторону, откуда, казалось, доносились крики. Едва только он въехал в лес, как увидел лошадь, привязанную к одному дубу, и мальчика лет пятнадцати, привязанного к другому дубу и обнаженного до половины тела. Он-то и кричал так жалобно и, действительно, не без основания, так как здоровый крестьянин жестоко бил его медным поясом, сопровождая каждый удар таким советом вместо припева:

– Закрой рот, – приговаривал он, – смотри весело.

На что мальчик отвечал:

– Я больше не буду, господин мой, клянусь Богом, я больше не буду. Я обещаю вам вперед лучше заботиться о саде.

При виде этой сцены, Дон-Кихот закричал голосом полным ярости:

– Недостойный рыцарь, стыдно вам нападать на того, кто не может защищаться. Садитесь на вашу лошадь и возьмите ваше копьё (к дереву, у которого была привязана лошадь за узду, было прислонено копьё),⁸ и я вам докажу, что только трусы поступают так, как вы.

Крестьянин, видя над собою вооруженное привидение, размахивающее копьём перед самым его носом, испугался и отвечал лукаво и смущенным тоном:

– Господин рыцарь, этот мальчик, которого я только, что наказывал, – мой слуга, и я заставляю его стеречь стадо овец в этой местности. Но он так небрежен, что не проходит дня, чтобы не пропадала одна овца; и так как я наказываю его за небрежность или плутовство, то он говорит, что я это делаю из скупости, чтобы не платить ему жалованья; но, клянусь Богом и моей душой, он лжет.

– Лжет! мне! бесстыдный негодяй! – возразил Дон-Кихот, – клянусь освещающим нас солнцем, я с большою охотою проткнул бы ваше тело этим копьём. Платите жалованье сию минуту и без возражений, – иначе, Бог свидетель, я убью и уничтожу вас в ту же минуту. Ну, отвязать его!

Крестьянин склонил голову и, не говоря ни слова, отвязал своего слугу, у которого Дон-Кихот спросил, сколько ему должен хозяин.

⁸ Нет ничего удивительного в том, что крестьянин носил копьё, – в течение восьмивековой борьбы с маврами, испанцы всех сословий приобрели привычку носить оружие.

– За девять месяцев, – отвечал тот, – до семи реалов в месяц.

Дон-Кихот сосчитал; он нашел, что сумма равнялась шестидесяти трем реалам, и велел крестьянину сейчас же раскошелиться, если он не хочет умереть. Дрожа, негодяй отвечал, что, как он уже клялся (он совсем не клялся до сих пор), сумма не была так велика; потому что надо принять в расчет и скинуть за три пары башмаков, которыми он его снабдил, и один реал за два кровопускания, сделанные ему во время болезни.

– Пусть будет это так, – возразил Дон-Кихот; – но башмаки и кровопускания идут в зачет ударов, нанесенных ему вами незаслуженно. Если он разорвал кожу на купленных вами башмаках, то вы разорвали ему кожу на теле; и если цирюльник пустил ему кровь во время болезни, то вы пустили ему кровь, когда он находился в добром здоровье. Стало быть, вы сквитались!

– Но тут одно неудобство, господин рыцарь, у меня нет с собою денег; пусть Андрей пойдет со мной домой, и я ему заплачу там всю сумму, которую я ему должен, до последнего реала.

– Чтобы я пошел с ним! – воскликнул мальчик; – сохрани Бог! Нет, господин, и подумать то об этом мне страшно. Если мы останемся с ним один на один, он с меня с живого сдерет кожу, как со св. Варфоломея.

– Он не сделает вам ничего, – возразил Дон-Кихот, – достаточно моего приказания, чтобы он чувствовал ко мне уважение, и если он поклянется законами рыцарства, к которому он принадлежит, то я отпущу его на свободу и поручусь за уплату.

– Но, ваша милость, обратите внимание на то, что вы говорите, – сказал мальчик, – мой хозяин вовсе не рыцарь и никогда не принадлежал ни к какому рыцарскому ордену; он – Иван Гальдудо, прозванный Богачем, и живущий в Гинтанаре.

– Что же из этого! – отвечал Дон-Кихот, – могут быть также и Гальдудо рыцарями; и, кроме того, каждый сын своих деяний.

– Это так, – сказал Андрей, – но сын каких деяний мой хозяин, не желающий платить мне жалованья, трудом и потом заслуженной мною награды?

– Я вовсе не отказываюсь, друг мой Андрей, – отвечал крестьянин; – сделайте одолжение, пойдемте со мною и, клянусь вам всеми рыцарскими орденами в свете, я, как уже сказал, уплачу вам всю сумму, и даже с процентами.

– От процентов я вас освобождаю, – возразил Дон-Кихот, – уплатите должную сумму и достаточно. Но позаботьтесь исполнить то, в чем вы только что поклялись; иначе, клянусь в свою очередь и тою же клятвой, я возвращусь, чтобы отыскать и наказать вас, и я вас найду, хотя бы вы умели так ловко прятаться, как ящерица. Если же вам любопытно знать, кто дает вам это приказание, – что еще более обяжет вас исполнить обещанное, то знайте, что я храбрый Дон-Кихот Ламанчский, разрушитель несправедливостей и мститель за притеснения. А теперь, прощайте!.. Не забывайте того, что вы обещали и в чем вы клялись, под страхом обещанного наказания. – Проговоря это, он прищипорил Россинанта и через минуту скрылся.

Крестьянин проводил его глазами и, когда убедился, что Дон-Кихот выехал из леса и не может более его слышать, обернулся к своему слуге Андрею со словами:

– Ну, сын мой, пойдемте, я уплачу, что я вам должен, как мне это приказано разрушителем несправедливостей.

– Клянусь, – отвечал Андрей, – пусть ваша милость в точности исполнит приказание рыцаря, которому да пошлет Бог тысячу лет жизни за его мужество и справедливость, и который, как свят Бог, возвратится исполнить обещанное, если вы мне не заплатите.

– Я тоже клянусь вам в этом, – возразил крестьянин, – и ради любви, которую я к вам питаю, я хочу увеличить мой долг, чтобы увеличить платеж.

И, взяв его за руку, он привязал его к дубу и бил его до тех пор, пока не оставил полумертвым.

– Зовите теперь, господин Андрей, – говорил крестьянин, – зовите разрушителя несправедливостей, и посмотрим, разрушит ли он сделанное, хотя, по-моему мнению, оно не совсем доделано, потому что меня разбирает сильная охота содрать с вас живого кожу, как вы того опасались.

Наконец, он его отвязал и пустил отыскивать своего судью, чтобы тот привел в исполнение произнесенный приговор. Андрей ушел, полный злобы и клянясь, что он пойдет искать храброго Дон-Кихота Ламанчского, которому он в точности расскажет обо всем происшедшем, и тот сторицей оплатит его хозяину. Но как бы то ни было, он ушел в слезах, а хозяин его продолжал смеяться. Таким-то образом исправил одно зло храбрый Дон-Кихот.

Между тем Дон-Кихот, восхищенный приключением, которое представлялось ему счастливым и величественным началом его рыцарского поприща, продолжал путь к своей деревне, разговаривая в полголоса:

– Ты можешь считать себя счастливейшей среди всех женщин, живущих к настоящее время на земном шаре, о прекраснейшая из прекрасных, Дульцинея Тобозская! ибо тебе отдан в покорные и преданные рабы такой храбрый и славный рыцарь, каков есть и будет Дон-Кихот Ламанчский, который вчера только перед всем миром принял рыцарское звание и сегодня уже, вырвав бич из руки, этого безжалостного чудовища, терзавшего тело нежного ребенка, пресек ужаснейшее зло, какое, только могли изобрести несправедливость и совершить жестокосердие.

Разговаривая таким образом, он доехал до того места, где дорога шла на четыре стороны и сейчас же ему вспомнилось о перекрестках, на которых странствующие рыцари останавливаются в раздумье, какую дорогу им выбрать, и, в подражание им, он тоже на мгновение остановился. Затем, подумав хорошенько, он пустил поводья Россинанта, предоставив выбор дороги на волю своего коня, который и остался верным своему первоначальному намерению держать путь в свою конюшню. Проехав около двух миль, Дон-Кихот заметил большую толпу людей, оказавшихся, как узнали впоследствии, толедскими купцами, которые ехали в Мурцию закупать шелк. Их было шестеро; в руках они несли зонтики и имели при себе четырех конных слуг и четырех пеших погонщиков мулов. Увидав их, Дон-Кихот вообразил, что ему предстоит новое приключение, и, стгорая от желания совершить какой-либо подвиг в подражание прочитанному им в книгах, он решил, что для этого теперь ему представляется самый благоприятный случай.

Вот почему он свободно и гордо укрепился в стременах, сжал в руке копье, прикрыл грудь щитом и, расположившись подле дороги, стал дожидаться приближения странствующих рыцарей – по его мнению, это были именно они. Когда они приблизились настолько, что могли его разглядеть и услышать, Дон-Кихот возвысил свой голос и вызывающим тоном сказал им:

– Стойте все, если все вы не признаете, что во всей вселенной нет девицы более прекрасной, чем императрица Ламанчи, несравненная Дульцинея Тобозская.

При этих словах купцы остановились, чтобы рассмотреть странную фигуру говорившего; и по фигуре, а также и по словам, они без труда угадали безумие нашего героя; но им хотелось поближе узнать, к чему могло клониться требуемое от них признание, и потому один из них – порядочный насмешник и притом остроумный – отвечал Дон-Кихоту:

– Господин рыцарь, мы не знаем этой благородной дамы, о которой вы говорите. Покажите нам её, и, если она действительно так прекрасна, как вы уверяете, то мы с охотой и без всякого принуждения признаем требуемую вами истину.

– Если бы я вам показал ее, – возразил Дон-Кихот, – какая заслуга была бы с вашей стороны признать такую очевидную истину? Важно то, чтобы, не видя ее, вы были готовы этому верить, это признавать, утверждать, в этом клясться и даже защищать это с оружием в руках. В противном случае, готовьтесь в бой, гордые и дерзкие люди, и станете ли вы нападать на меня один на один, как это принято у рыцарей, или, по привычке и недостойному обычаю людей

вашего рода, нападете на меня все вместе, – все равно я твердо буду ждать вас здесь, веря в правоту моего дела!

– Господин рыцарь, – возразил купец, – чтобы не отягощать нашей совести признанием того, чего мы никогда не видали и не слыхали, и что служит также к явному ущербу императрицы Эстрамадуры и городского округа Толедо, я, от имени всех, сколько нас есть здесь, принцев, умоляю вашу милость показать нам какой-нибудь портрет этой дамы. Пусть он будет не больше ячменного зерна, мы по образчику будем судить о целом: это успокоит нашу совесть, и вы получите полное удовлетворение. И я даже думаю, мы настолько предубеждены в ее пользу, что, если на портрете она предстанет нам на один глаз кривой, а другим изливающей киноварь и серу, – несмотря на это, мы все-таки, чтобы угодить вашей милости, скажем в похвалу ее все, что вам будет угодно.

– Она не изливает ничего, подлая тварь, – закричал Дон-Кихот, воспламененный гневом, – она не изливает ничего, кроме мускуса и амбры; она не крива и не горбата, а прямее гвадаррамского веретена. За ужаснейшую хулу, произнесенную вами на такую совершенную красоту, как красота моей дамы, вы мне поплатитесь!

И сказав это, он так яростно бросился с опущенным копьем на разговаривавшего с ним, что если бы, к счастью, Россинант среди бега не спотыкнулся и не упал, то купцу пришлось бы раскаяться в своей смелости, но Россинант упал, и господин его далеко покатился по земле. Дон-Кихот пытался подняться, но этого не удавалось, так как ему сильно мешали копье, щит, шпоры и шлем, не считая уже тяжести его старинного вооружения. И, делая невероятные усилия подняться, он не переставал кричать:

– Не убегайте, трусы, не убегайте, презренные рабы! Знайте, это не моя вина, это вина моей лошади в том, что я упал.

Один погонщик мулов, бывший в свите купцов и не отличавшийся, очевидно, особенно сдержанным характером, не мог снести стольких произнесенных рыцарем хвастливых угроз, не посчитав ему в ответ ревер. Поэтому он подбежал, отнял у него копье и, сделав из последнего несколько кусков, начал одним из них так жестоко бить нашего Дон-Кихота, что, несмотря на латы, чуть не переломал ему костей. Его господа напрасно ему кричали не бить и оставить рыцаря в покое, – негодяю понравилось это занятие, и он не хотел оставить его, пока не изольет своего гнева без остатка; и, собрав другие обломки копья, он доломал и их об упавшего несчастного, этот же, несмотря на град сыпавшихся на его тело ударов, кричал однако не тише прежнего, посылая угрозы небу и земле, а также и тем, кого он принимал за маландринцев. Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свою дорогу, рассказывая во время путешествия о бедном избитом сумасшедшем.

Увидев себя оставленным, Дон-Кихот снова попытался встать, но, если это не удавалось ему тогда, когда он был в добром здоровье, то как он мог сделать это теперь, избитый и наполовину обессиленный? Несмотря на то, он все-таки чувствовал себя счастливым, считая свое несчастье обычным явлением для странствующих рыцарей, и целиком приписывая его вине своей лошади. Но подняться ему было все-таки невозможно – настолько было избито его тело.

Глава V

В которой продолжается рассказ о приключении нашего рыцаря

Видя, наконец, что сдвинуться с места ему невозможно, Дон-Кихот решил прибегнуть к своему обыкновенному лекарству, т. е. к воспоминаниям некоторых мест из своих книг, и его безумие привело его на память эпизод с Бальдовиносом и маркизом Мантуанским, когда Карлотта оставляет первого раненым в горах – история знакомая детям, небезызвестная молодым людям, восхваляемая и даже принимаемая на веру стариками и, однако, настолько же истинная, насколько истинны и чудеса Магомета. Она казалась ему как нельзя более подходящею к его настоящему положению и потому, с признаками живейшей печали, он начал кататься по земле и повторять, тяжело вздыхая, те же слова, которые произносил, как говорят, раненый рыцарь роши:

«О, моя дама! куда вы сокрылись?
Иль мое горе вас вовсе мы трогает?
Или о нем вы совсем и не знаете?
Или, забыв обо мне, вы избрали другого?»

И он продолжал в этом же роде романс до стихов:

«О, благородный маркиз Мантуанский,
Дядя и господин мой природный?»

Едва успел он окончить эти стихи, как этой же дорогой случилось проходить крестьянину из его деревни, его соседу, который возил хлеб на мельницу и теперь возвращался домой. Видя простертого на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что за горе испытывает, так печально жалуясь. Дон-Кихоту, наверное, представилось, что это его дядя, маркиз Мантуанский, и потому, вместо всякого ответа, он продолжал свой романс, в котором он рассказывал о своем несчастье и о любви его жены и сына императора, все это точь-в-точь так, как поется в романсе. Крестьянин был не мало удивлен, услышав такие нелепости; сняв забрало; разломанное ударами палки в куски, он вытер покрытое пылью лицо рыцаря. Тогда только, узнав его, он воскликнул:

– О, Боже мой, синьор Кихада (таково было имя гidalго в то время, когда он еще пользовался здравым рассудком и не превращался в странствующего рыцаря), кто это нас довел до этого? – Но тот на все вопросы отвечал только продолжением своего романса.

Видя это, бедняк снял с него, как мог, нагрудник и наплечник, чтобы посмотреть, нет ли у него раны; но следов крови он не заметил. Тогда он постарался приподнять рыцаря и ему не без труда удалось взвалить его на осла, показавшегося ему более смиренным, чем Россинант, животным. Потом он собрал оружие, до обломков копья включительно, и, связав их, положил на Россинанта. Затем, взяв Россинанта за узду, а осла за недоуздок, он отправился в свою деревню, подвергаясь неприятности выслушивать нелепости, рассказываемые Дон-Кихотом. Не меньшие неприятности испытывал дорогой сам Дон-Кихот, который был настолько избит и взломан, что не мог держаться на осле и по временам посылал глубокие вздохи к небу, так что крестьянин счел себя обязанным еще раз спросить, какое у него горе. Но, вероятно, сам дьявол приводил Дон-Кихоту на память, все истории, имевшие хоть какое-нибудь отношение к его приключению, потому что, вдруг позабыв в эту минуту Бальдовиноса, он вспомнил о мавре

Абиндараэсе, которого анфекерский губернатор Родриг Нарваззский берет в плен и приводит в свой укрепленный замок. Когда крестьянин спросил его, как его здоровье и что он чувствует, то рыцарь отвечал ему теми же словами, какими пленный Абиндараэс отвечает Родригу Нарваззскому, как об этом рассказывается в Диане Георга Монтемайорского; при этом он припоминал все подробности с такою точностью, что крестьянин, выслушивая эту кучу глупостей, призывал всех чертей. Тогда-то он узнал, что его сосед решительно сумасшедший, и стал спешить в деревню, чтобы избавиться от скуки, нагнанной на него нескончаемой болтовней Дон Кихота. Этот же, оканчивая рассказ, добавил:

– Пусть знает ваша милость, Дон-Родриг Нарваззский, что эта Харифа, о котором я только что говорил, есть в настоящее время прекрасная Дульцинея Тобозская и для нее я совершал, совершаю и совершу славнейшие из подвигов рыцарства, какие только видел, видит и увидят мир.

– Но, ради Бога, сеньор, – отвечал крестьянин, – сообразите, пожалуйста, что я ни Родриг Нарваззский, ни маркиз Мантуанский, а просто Петр Алонсо, ваш сосед; и что ваша милость ни Бальдоинос, ни Абиддараэс, но только уважаемый гидальго, сеньор Кихада.

– Я знаю, кто я, – возразил Дон-Кихот, – я знаю, что я могу быть не только теми, кого я сейчас назвал, но даже двенадцатью пэрами Франции и девятью рыцарями славы,⁹ потому что совершенные ими подвиги, все вместе и каждый в отдельности, должны быть превзойдены моими.

Среди подобных разговоров, они к закату солнца прибыли в деревню; но крестьянин подождал, пока наступила совсем ночь, чтобы никто не видел нашего гидальго, совершающим свой въезд в таком жалком виде и на осле.

Когда настал благоприятный час, крестьянин въехал в деревню и подъехал к дому Дон-Кихота. В доме в это время происходила большая суматоха. В нем собрались и священник, и деревенский цирюльник – оба большие друзья Дон-Кихота – и экономка жалобным голосом говорила им:

– Что вы думаете, господин лицензиат Перо Перес (так назывался священник) и как вы полагаете, какое несчастье могло случиться с моим господином? Вот уже шесть дней, как мы не видим ни его, ни коня, ни щита, ни копья, ни оружия... Ах, я несчастная! Я в этом не сомневаюсь, и это также верно, как то, что я родилась для того, чтобы умереть, – это проклятые рыцарские книги, его единственное и постоянное чтение, вскружили ему голову. Я теперь вспоминаю, что я много раз слыхала от него, как бы желал он сделаться странствующим рыцарем и отправиться по свету искать приключений. Пусть сатана унесет эти книги, погубившие наиболее тонкий ум во всей Ламанче!

Племянница, с своей стороны, сказала то же самое и добавила еще:

– Знаете, сеньор Николай (так было имя цирюльника), часто случалось, что дядя мой проводил два дня и две ночи подряд над чтением этих гнусных и злополучных книг, после чего он внезапно отбрасывал книгу, схватывал меч и начинал сражаться со стеною. Когда же он утомлялся и переставал, то он говорил, что убил четырех великанов, каждый вышиною с башню, а пот, катившийся с него от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в битве. Потом он залпом выпивал большую кружку холодной воды и после этого находил себя отдохнувшим и исцеленным, рассказывая, что эта вода – драгоценный напиток, который ему принес мудрый Эскиф, великий чародей и друг его. Но во всем этом виновата одна я: я не сообщала вам ничего про безумства моего дяди; вы бы тогда употребили какое-нибудь лекарство прежде, чем это дошло до такой степени, и сожгли бы эти проклятые книжки, которыми полон дом, потому что они заслуживают сожжения не менее, чем еретические сочинения.

⁹ Из них было трое евреев: Иисус Навин, Давид и Иуда Маккавей; трое язычников: Гектор, Александр и Цезарь, и трое христиан: Артур, Карл Великий и Годфрид Бульонский.

– Таково же и мое мнение, – проговорил священник, – и завтрашний день они непременно будут присуждены к сожжению, и мы устроим ауто-да-фе. Тогда уж они ни в кого больше не вселят желания делать то, что сделал, вероятно, наш бедный друг.

Дон-Кихот и крестьянин слушали уже у ворот все эти разговоры, и последний окончательно убедился в болезни своего господина. Поэтому он принялся кричать:

– Отворите немедленно сеньору Бальдовиносу и сеньору маркизу Мантуанскому, возвращающимся тяжело раненными, и сеньору мавру Абиндарраэсу, которого приводит пленником храбрый Родриг Нарваззский, губернатор антекерский.

Все выбежали на эти крики и поспешили обнять Дон-Кихота, сейчас же узнав в нем, одни – своего друга, другие – дядю и господина, у которого между тем не хватало сил слезть с осла. Но рыцарь произнес:

– Остановитесь все! Я возвращаюсь тяжело раненный по вине своей лошади; пусть меня отнесут в постель и позовут ко мне, если возможно, мудрую Урганду, чтобы она осмотрела и полечила мои раны.

– Ну, вот, – воскликнула тогда экономка, – не чувствовало ли мое сердце, на какую ногу хромает мой господин. Поднимайтесь же, сеньор, с Божьей помощью; вовсе нет надобности звать эту Урганду, потому что мы и без нее сумеем вас полечить. Пусть будут прокляты, повторяю я, тысячу раз прокляты эти рыцарские книги, которые довели вас до такого состояния.

Сейчас же отнесли Дон-Кихота в постель, но, когда вздумали осмотреть раны, то не нашли ни одной.

– У меня только, – сказал он, – разбито тело при страшном падении, которое я потерпел вместе с конем моим Россинантом, сражаясь против десяти великанов, громаднейших и страшнейших из всех, какие только могут быть на пространстве трех четвертей земли.

– Ба, ба! – сказал священник, – вот и великаны появились! Клянусь знаменем креста, завтра же до вечера они будут сожжены!

Все задавали Дон-Кихоту тысячу вопросов, но на все вопросы он отвечал только, чтобы ему дали поесть и оставили заснуть, в чем он более всего нуждался. Так и сделали. Потом священник долго осведомился у крестьянина обо всех обстоятельствах, относящихся к его встрече с Дон-Кихотом. Тот рассказал все, упомянул и о нелепостях, которые ему довелось услышать так, на месте встречи, и дорогой. Это только еще более могло усилить желание священника сделать то, что действительно сделал он на следующий день, то есть послать за своим другом цирюльником Николаем и вместе с ним отправиться в дом Дон-Кихота.

ГЛАВА VI

О великом и приятном исследовании, произведенном священником и цирюльником в библиотеке нашего славного рыцаря

Дон-Кихот все еще спал. Священник спросил у племянницы ключи от комнаты, в которой были книги вредных авторов, и та с радостью их отдала. Все, в сопровождении экономки, вошли в комнату, и нашли там более ста больших, хорошо переплетенных томов и несколько книг небольшого формата. При виде их экономка поспешно выбежала из комнаты и вскоре же возвратилась с чашей святой воды и кропилом.

– Возьмите, господин лицензиат, – сказала она, – окропите эту страшную комнату на случай, если здесь находится какой-нибудь волшебник из тех, которыми наполнены книги – чтобы он не мог очаровать нас в наказание за наши угрозы выгнать из мира его и его собратий.

Священник засмеялся над простотой экономки и попросил цирюльника подавать ему книги по одной, чтобы можно было рассмотреть, о чем каждая говорит, так как могли встретиться и такие, которые совсем не заслуживали сожжения.

– Нет, – сказала племянница, – не следует шадить ни одной, потому что все они приносят только вред. Лучше всего выбросить их за окно, сложить в кучу и поджечь, или еще лучше отнести их на задний двор, и там мы устроим из них костер, чтобы дым их не беспокоил нас.

Экономка высказала то же намерение – так сильно обе они желали смерти этих бедных невинных книг; но священник не соглашался на это, не прочитав предварительно хотя бы заглавий. И первым сочинением, которое вручил ему сеньор Николай, были четыре тома Амадиса Гальского; относительно его священник сказал:

– Мне кажется, что так случилось неспроста; как я слышал, это – первая рыцарская книга, напечатанная в Испании, я от нее-то получили происхождение другие этого же рода; поэтому я думал, что, как основательницу гнусной ереси, мы должны без всякого сожаления приговорить ее к сожжению.

– Нет, сеньор, – возразил цирюльник, – а я также слышал, что это лучшая из книг, написанных в этом роде, и потому, как образец, она заслуживает помилования.

– Это правда, – сказал священник, – и на этом основании мы пока пожалуем ей жизнь. Посмотрим теперь другую рядом!

– Это, – сказал цирюльник, – Подвиги Эспландиана, законного сына Амадиса Гальского.

– По моему мнению, – сказал священник, – заслуги его отца не должны быть причиною снисходительности к его сыну. Возьмите, госпожа экономка, откройте это окно и выбросьте эту книгу на двор: пусть она положит начало костру, на котором мы устроим наш потешный огонь.

Экономка от всего сердца повиновалась, – и храбрый Эспландиан полетел во двор терпеливо ожидать угрожавшего ему сожжения.

– Дальше! – сказал священник.

– Затем идет, – сказал цирюльник, – Амадис Греческий и все, которые на этой стороне, тоже, кажется, из семейства Амадисова.

– Ну, так пусть все они отправляются во двор! – сказал священник – право, за удовольствие сжечь королеву Пинтиклииэстру и пастуха Даринэля с его эклогами, а также запутанные речи и дьявольские рассуждения самого автора, я согласился бы вместе с ними сжечь моего собственного отца, если бы он мне предстал в образе странствующего рыцаря.

– Я думаю тоже самое, – сказал цирюльник.

– И я то же, – добавила племянница.

– Так давайте же их мне, – проговорила экономка, – и они отправятся во двор.

Ей передали книги (их было много) и, чтобы избавиться от трудов спускаться с лестницы, она и их отправила вниз через окно.

– Это что за толстый том? – спросил священник.

– Это, – отвечал цирюльник, – Дон Оливант де Лаура.

– Автор этой книги, – сказал священник, – тот самый, который сочинил Сад цветов; и, по правде сказать, я затруднялся бы решить, какая из этих книг более истинна или, скорее, менее ложна. Я могу пожелать только, чтобы она шла тоже во двор за свою нелепость и надутый тон.

– Теперь идет, – сказал цирюльник, – Флорисмарс Гирканский.

– Как! – воскликнул священник, – здесь есть также и сеньор Флорисмарс? Ну, так пусть поспешит он вслед за другими, несмотря на свое иностранное происхождение и фантастические приключения; потому что только этого он и заслуживает за грубость и сухость своего слога... Во двор и того и другого, госпожа экономка.

– С большим удовольствием, – отвечала та и с радостью исполнила данное ей распоряжение.

– Вот Рыцарь Платир, – сказал цирюльник.

– Это старая книга, – заметил священник, – но в ней нет ничего заслуживающего пощады. Пусть она без возражения идет в ту же компанию.

Это было тоже выполнено.

Открыли другую книгу и увидели заглавие Рыцарь Креста.

– Такое святое имя, каким называется эта книга, заслуживало бы, – сказал священник, – чтобы отнестись снисходительно к ее невежеству. Но не надо забывать обычной поговорки: за крестом прячется дьявол. Пусть же идет эта книга в огонь! – цирюльник взял другую книгу и сказал:

– Вот Зеркало рыцарства.

– Я уже имел честь с ней познакомиться, – сказал священник; – в ней является сеньор Рейнальд Монтальванский со своими друзьями и товарищами, мошенниками побольше Како, и двенадцать пэров Франции и истинный историк Тюрпен. Я полагал бы достаточным приговорить их всех к вечному заключению из уважения к тому, что они вдохновили знаменитого Матео Байардо и послужили нитью замысла для христианского поэта Людовика Ариосто. Что же касается этого последнего, то, если он попадется мне здесь говорящим на каком-нибудь другом языке, кроме своего, я не окажу ему никакого почтения; но если он встретится на своем родном языке, то я его приму со всем моим уважением.

– У меня он есть на итальянском языке, – сказал цирюльник, – но я не понимаю этого языка.

– Было бы не лучше, если бы вы его понимали, – отвечал священник, – и было бы не хуже, если бы, по милости Божией, его не понимал и известный капитан, который перевел Ариосто по-испански и изукрасил по-кастильски; потому что своим переводом он сильно понизил цену сочинения. Так, впрочем, случается со всеми, которые решаются перевести стихотворные произведения на другой язык; сколько бы забот они ни прилагали, какое бы искусство они ни выказывали, они никогда не придадут этим произведениям того совершенства, которым эти последние обладают на родном языке. Одним словом, мое мнение таково, чтобы эту книгу, а также и все те из найденных нами, которые говорят о делах Франции, – положить или бросить в сухой колодец до тех пор, пока нам будет можно на досуге обсудить, что с ними сделать. Я, конечно, исключая отсюда известного Бернардо дель Карпио, наверно находящегося здесь, и еще другую книгу под названием Ронсевальское ущелье, которые, если попадут в мои руки, немедленно же перейдут в руки экономки, а оттуда в огонь без всякой пощады.

Все это было одобрено цирюльником, находившим это, как нельзя более, справедливым и превосходно придуманным; потому что в глазах его священник был таким добрым христианином и другом истины, что ни за что в свете не сказал бы ничего противного последней.

Затем, открыв другой том, он увидел, что это был Пальмерин Оливский, а рядом с ним находилась еще книга, озаглавленная Пальмерин Английский. Увидав их, лицензиат сказал:

– Эту оливу пусть сожгут, и чтобы не оставалось даже и пеплу от нее; что же касается этой английской пальмы, то ее следует тщательно сохранять, как единственную вещь в своем роде, и она достойна такого же драгоценного ящика, какой нашел Александр в добыче Дария и предназначил для хранения произведений поэта Гомера. Эту книгу, кум, можно вдвойне рекомендовать: прежде всего – благодаря ее внутренним достоинствам, а затем и потому, что она, как говорят, произведение португальского короля настолько же богатого воображением, насколько и мудрого. Все приключения в замке Мирагарда превосходны и рассказаны с большим искусством; речи – естественны, изящны, удачно и умно приспособлены к тем характеристикам, которые их произносят. Поэтому, с вашего позволения, господин Николай, я скажу, что эта книга и Амадис Гальский избавляются от огня; все же остальное, без всякой другой формы процесса, пусть погибнет немедленно. – Нет, кум, – возразил цирюльник, – у меня сейчас в руках Дон Беманис.

– Что касается этого, – отвечал священник, – то второй, третьей и четвертой части его следовало бы дать немного ревеню, чтобы очистить их от излишка желчи; следовало бы также исключить всю эту историю замка Славы и другие еще более возмутительные нелепости. А посему этой книге следует дать заморский срок¹⁰ и, смотря по тому, насколько она улучшится, мы или поступим с нею со всею строгостью или окажем ей помилование. Пока же, берегите ее у себя, кум, и не давайте никому читать.

– Охотно, – отвечал цирюльник.

И, не утруждая себя более разбором рыцарских книг, священник приказал экономке взять все большие томы выбросить их на двор.

Он сказал это не дураку и не глухому, а человеку, у которого желание сжечь их было сильнее, чем заказать ткачу кусок полотна, хотя бы и очень большой кусок и очень тонкого полотна. Поэтому экономка схватила в охапку с полдюжины этих книг и бросила их за окно; но желая взять слишком много сразу, она уронила одну книгу к ногам цирюльника. Тот поднял ее, чтобы посмотреть, что это такое, и прочитал заглавие: История славного рыцаря Тиранта Белого.

– Слава Богу! – воскликнул священник – у нас Тирант Белый! Передайте мне его, кум; по моему мнению, мы нашли в нем сокровищницу веселья и источник приятного времяпрепровождения. В этой книге описываются и храбрый рыцарь Кирие-Елейсон Монтальванский, и его брат Фома Моитальванский, и рыцарь Фониоса, и бой, происходивший между Тирантом и охотничьей собакой, и остроумные уловки девицы Удовольствия моей жизни, а также любовь и хитрости вдовы, Спокойствия и императрица, влюбленная в своего оруженосца. По истине, скажу вам, кум, эта книга по своему стилю лучшая во всем мире. В ней вы увидите, как рыцари едят, спят, умирают в своих постелях, перед своей кончиной составляют завещания, и пропасть другого, что отсутствует во всех книгах этого рода. Так что я вас могу уверить, что тот, кто составил ее, заслуживал бы за добровольное изобретение стольких глупостей вечной ссылки на галеры. Возьмите эту книгу к себе, прочитайте ее и вы увидите, верно ли то, что я вам сказал.

– Хорошо, – отвечал цирюльник; – но что будем мы делать с остальными маленькими томами?

– Это, должно быть, не рыцарские книги, – сказал священник, – а поэтические произведения.

¹⁰ Заморский срок (*termino ultramarino*), необходимый для того, чтобы иметь возможность вызвать в суд кого-либо из живших в испанских колониях, равнялся шести месяцам.

Он открыл одну из них и увидел, что кто была, Диана¹¹ Георга Монтемайорского. Думая, что и другие книги того же рода, он сказал:

– Эти не заслуживают быть сожженными вместе с другими, потому, что они не могут принести вреда, какой приносят рыцарские книги. Эти книги доставляют безопасное развлечение читателю.

– Ах, сеньор, – сказала племянница, – лучше бы вы сделали, если бы приговорили их к сожжению вместе с другими, потому что, если мой дядя излечился от болезни странствующего рыцарства, то, читая эти книги, он, чего доброго, заберет себе в голову сделаться пастухом и расхаживать по лугам и лесам, распевая песни и играя на свирели; или, что еще хуже, задумает сделаться поэтом, а это, говорят, болезнь заразительная и неизлечимая.

– Девушка права, – сказал священник, – и благоразумнее всего убрать с глаз нашего друга всякий повод к сумасшествию. Диану же Монтемайорскую я полагаю не сжигать, а только уничтожить в ней все, что говорится о мудрой Фелиции и о волшебной воде, и почти все большие стихами. Пусть она остается с своей прозой и с честью быть первой из книг этого рода.

– Затем идет, – говорил цирюльник, – Диана, называемая Вторая Саламантина, а вот другая с тем же заглавием, автор которой Хиль Поло.

– Диана Саламантина, – сказал священник, – пусть увеличит собой число приговоренных на заднем дворе; что же касается Дианы Хиль Поло,¹² то ее следует так хранить, как будто бы она принадлежала самому Аполлону. Будем, однако, продолжать, кум, и поспешим, потому что уже поздно.

– Это, – сказал цирюльник, открывая другой том, – Десять книг Фортуны любви, составленные Антонио де-Лофрасо, сардинским поэтом.

– В силу полученной мною власти, – сказал священник, – я полагаю, что с тех пор, как Аполлон стал Аполлоном, музы стали музами и поэты – поэтами, никто еще не составлял более забавной и сумасбродной книги. Она, в своем роде, лучшая и наиболее редкостная из всех появившихся при свете дня книг; кто не читал ее, тот не читал ничего забавного. Передайте мне ее, кум; право, найдя ее, я считаю себя более счастливым, чем если бы мне подарили рясу из флорентийской тафты. – И он, восхищенный, отложил ее в сторону.

– Потом следуют, – продолжал цирюльник, – Иберийский пастор, Генаресские нимфы и Лекарства против ревности.

– Ну, – сказал священник, – их лучше все передать в руки светской власти – экономки, и не спрашивайте меня почему, иначе мы никогда не кончим!

– Теперь вот Пастух Филиды.

– Это не пастух, – сказал священник, – а скорее умный и просвещенный придворный; берегите эту книгу, как драгоценность.

– У этого большого тома, – сказал цирюльник, – заглавие: Сокровищница различных стихов.

– Если бы их в ней не было так много, – сказал священник, – она от этого была бы только лучше. Эту книгу следует освободить от нескольких бездарных произведений, перемешанных с прекрасными вещами. Пусть, однако, она сохранится, так как автор ее мой друг, и из уважения к другим его более возвышенным и более героическим произведениям.

– Это – Песенник Лопеса Мальдонадо, – продолжал цирюльник.

– Автор этой книги – оказал священник, – тоже один из моих хороших друзей. Стихи его в его устах восхищают всех, кто их слышит, и голос его имеет такую прелесть, что, когда он их поет, он очаровывает. Его эклоги – немного длинны; но, что у него есть хорошего, на длину того никогда нельзя пожаловаться. Пусть положат ее к пощаженным. Но что это за книгу вижу я

¹¹ Пастушеский роман, написанный португальцем на испанском языке.

¹² Валансьенский поэт, написавший продолжение Дианы Монтемайора.

рядом? – это Галатея Мигеля Сервантеса. – Сервантес мой давнишний и хороший приятель; он более опытен в несчастиях, чем в поэзии. Его книга не лишена некоторой изобретательности; но он начинает и не оканчивает. Подождем второй части, которую он обещает. Может быть, исправясь, он получит совершенное прощение, в котором ему отказывают теперь. До тех же пор, кум, берегите у себя книгу, как пленника.

– Согласен, – отвечал цирюльник! – вот три еще появляются вместе: Араукана Дон-Алонсо де-Эрсилья, Аустриадо Хуана Руфо, кордовского судьи, и Монсеррат, валансьенского поэта Крестовала де-Вируеса.

– Все три, – сказал священник, – лучшие из героических стихотворений, написанных на испанском языке, и могут соперничать с славнейшими из итальянских. Заботливо берегите их, как драгоценнейшие памятники, которыми обладает Испания.

Священник утомился, разбирая так много книг, и потому выразил желание, чтобы все остальное, без дальнейших замечаний, бросили в огонь. Но цирюльник держал уже раскрытой одну книгу, называвшуюся Слезы Ангелины.

– Право, – сказал священник, услышав это название, – я бы сам пролил столько же слез, сколько пролила ее героиня, если бы я заставил сжечь такую книгу, потому что автор ее был одним из славнейших поэтов не только Испании, но и всего мира, и необыкновенно удачно перевел несколько басен Овидия.

ГЛАВА VII

О втором выезде нашего рыцаря Дон-Кихота Ламанчского

В то время, как они беседовали таким образом, Дон-Кихот принялся страшно кричать: – Сюда, храбрые рыцари, – вопил он. – Здесь вы должны показать силу ваших страшных рук; иначе придворные отнимут у вас приз турнира!

Все бросились на шум и оставили не разобранными много других книг; поэтому предполагают, что Королева и Леон Испанский, без дальнейшего расследования, пошли в огонь вместе с Подвигами Императора, составленными Дон-Луисом де-Авила и, вероятно, находившимися в библиотеке; если бы эти книги видел священник, может быть, они подверглись бы менее суровому приговору.

Когда все прибежали к Дон-Кихоту, то увидали, что он уже оставил постель и продолжал вопить и безумствовать, коля и рубя мечем направо и налево, но уже совершенно проснувшись. Его схватили в охапку и насильно уложили снова в постель. Когда он немного успокоился, то, оборотясь к священнику, произнес:

– Поистине, господин архиепископ Тюрпен, страшный позор надет на нас, называющихся двенадцатью пэрами, за то, что мы позволили придворным рыцарям отнять у нас победу этого турнира после того, как во все три предыдущие дня она оставалась за нами, странствующими рыцарями.

– Оставим это, кум, – отвечал священник, – если угодно Богу, счастье опять перейдет на вашу сторону, и то, что проиграно сегодня, снова может быть выиграно завтра. Теперь же не заботьтесь ни о чем, кроме своего здоровья; потому что вы, кажется, истомлены усталостью, если при том еще и не ранены тяжело.

– Я не ранен, – проговорил Дон-Кихот, – но избит и изломан, это слишком верно, этот выродок Роланд колотил меня стволom целого дуба; и единственно из злобы, потому что только я один не трушу его самохвальства. Но пусть не буду я Рейнальдом Монтальванским, если он мне за это не заплатит, когда я встану с постели. Теперь же пока пусть мне дадут поесть, потому что это мне всего нужнее, и пусть предоставят мне самому заботу о своем отмщении.

Это было исполнено: ему принесли поесть, после чего он снова заснул, оставив всех в изумлении от его безумия.

В этот же вечер экономка предала сожжению все книги, которые только оказались на заднем дворе и в остальном доме; при этом пламя истребило наверное между книг и такие, которые заслуживали бы быть хранимыми в бессмертных архивах. Но злая судьба их, вследствие лености их исследователя, судила иначе, и таким образом на них осуществилась поговорка, что праведнику часто приходится расплачиваться за грешника.

Одним из лекарств, придуманных священником и цирюльником для излечения болезни их друга, было заделать дверь комнаты с книгами так, чтобы он не нашел ее, когда встанет (причина будет устранена, может быть, исчезнет и ее следствие, болезнь, рассуждали друзья), и затем сказать ему, что какой-то волшебник унес все – и кабинет, и книги. Это было с возможною поспешностью приведено в исполнение. Через два дня Дон-Кихот поднялся. Первым его делом было отправиться посмотреть свои книги: и, не находя более кабинета, где он их оставил, он заходил искать его и с той, и с другой стороны. Он подходил к месту, где прежде была дверь, ощупывал его руками и по несколько раз поводил кругом глазами, не говоря ни слова. Наконец, по истечении довольно долгого времени, он спросил у экономки, где комната с книгами. Экономка, хорошо подученная, отвечала ему:

– Какую несуществующую комнату ищете вы, ваша милость? В вашем доме нет уже ни этой комнаты, ни книг; сам черт явился и все унес.

– Не черт, – возразила племянница, – а волшебник, который явился в следующую же ночь после вашего отъезда в облаке, сидя верхом на драконе, спустился сверху и вошел, в ваш кабинет; потом я не знаю, что-то он там поделал и улетел через крышу, наполнив весь дом дымом; и когда мы захотели посмотреть, что он там натворил, то не нашли ни комнаты, ни книг. Мы только хорошо помним – эконома и я, – что, улетаая, этот злой старик закричал нам сверху, что тайная вражда, питаемая им к владельцу книг и комнаты, побудила его сделать в доме опустошение, которое заметят после. Он сказал также, что его зовут Мюньютоном.

– Фристоном, сказал он наверное, – проговорил Дон-Кихот.

– Не знаю, – возразила эконома, – назвался ли он Фристоном или Фритоном; знаю только, что имя его оканчивалось на тон.

– Да! – сказал Дон-Кихот, – этот ученый волшебник – мой большой враг, так как его искусство открыло ему, что через некоторое время мне придется вступить в поединок с рыцарем, которому он покровительствует, и из этого поединка я выйду победителем, что бы он ни делал. Вот почему он и старается делать мне всякие неприятности, какие только может. Но пусть он знает, что трудно ему избежать того, что предназначено самим небом. – Кто в этом сомневается? – сказала племянница. – Но зачем, дядя, вмешиваться в подобного рода раздоры? Не лучше ли оставаться спокойно дома, чем отправляться искать по свету приключений, позабыв о том, что многие пускались добыть шерсти и вернулись еще более остриженными?

– О, племянница, – ответил Дон-Кихот, – как велика ваша простота! прежде чем меня остригут, я сам обрею и вырву бороду всем, кто осмелится дотронуться хотя бы до кончика моих волос!

Видя, что его гнев опять начинает разгораться, обе женщины удержались от дальнейших возражений.

Как бы там ни было, он пятнадцать дней оставался в доме, очень спокойный и не обнаруживая, ни малейших признаков желания снова приняться за старое. В течение этого времени он вел со своими друзьями – священником и цирюльником – очень занятные разговоры, уверяя, что самую сильную надобность мир ощущает в странствующих рыцарях и что поэтому надо воскресить странствующее рыцарство. Священник иногда ему возражал, иногда притворялся, как будто бы соглашается с его мнением, потому что, без подобных хитростей с ним было невозможно разговаривать.

Между тем Дон-Кихот вел тайные совещания с одним крестьянином, своим соседом, человеком честным (если только такой титул можно дать бедному человеку), но имевшим, надо сознаться, мало мозгу в голове. Он ему столько вещей наскзал, так сильно убедил его и надавал столько обещаний, что бедняк решился отправиться вместе с ним и служить ему оруженосцем. Между прочим, Дон-Кихот сказал ему, что он должен без колебания решиться ему следовать; так как с минуты на минуту может представиться такое приключение, в котором он, Дон-Кихот, одним ударом руки приобретет целый остров и потом губернатором этого острова сделает своего оруженосца на всю жизнь. Соблазненный этим и тому подобными обещаниями, Санчо Панса (так звали крестьянина) оставил жену и детей своих и поступил оруженосцем к своему соседу. Дон-Кихот немедленно позаботился раздобыть денег и, продав одно, заложив другое, во всем терпя убытки, собрал некоторую сумму. В то же время он достал себе щит, одолженный ежу одним из друзей, и, насколько мог, исправил разбитый шлем; потом он уведомил своего оруженосца Санчо о дне и часе, когда он думает отправиться в путь, чтобы тот также запасся всем, что считал для себя необходимым. Дон-Кихот в особенности советовал ему захватить сумку. Тот отвечал, что он ее не забудет, и сообщил вдобавок о своем намерении взять с собою и своего осла, потому что он сам не обладает ни привычкой, ни склонностью делать пешком длинные переходы. Дон-Кихот некоторое время размышлял по этому поводу, стараясь отыскать в своей памяти такого рыцаря, которого бы сопровождал оруженосец, едзя на осле. Но его память никак не могла представить ему ни одного такого примера.

Однако он позволил Санчо захватить осла, предполагая впоследствии снабдить его более подходящим животным, отняв лошадь у первого же встретившегося непокорного рыцаря. Наконец, следуя совету хозяина постоянного двора, Дон-Кихот запасся также сорочками и другими вещами, которые только мог себе достать.

Совершив все это, они, не простившись, Панса – с своей женой и детьми, Дон-Кихот – с своей экономкой и племянницей; выехали в один прекрасный вечер из деревни никем не замеченные и всю ночь, так быстро ехали, что к рассвету могли себя считать уже в безопасности от погони, если бы на самом деле кто-либо вздумал пуститься на поиски их. Санчо Панса ехал, подобно патриарху, на своем осле, с сумкой и мехом и с сильным желанием видеть себя губернатором острова, обещанного ему его господином. Дон-Кихот поехал в том же направлении и по той же дороге, как и в прошлый свой выезд, т. е. через Монтиельскую долину, по которой он, однако, путешествовал теперь с меньшею неприятностью, чем прошлый раз, так как было раннее утро и солнце бросало на путников косые лучи, то они и не ощущали от этого никакого неудобства. Между тем Санчо сказал своему господину:

– Попомните же об этом, ваша милость, господин странствующий рыцарь! не забывайте обещанного вами острова. Я способен быть его губернатором, как бы он велик ни был.

На это Дон-Кихот отвечал:

– Знай, друг Санчо, что у странствующих рыцарей был некогда очень распространенный обычай делать своих оруженосцев правителями завоеванных островов или королевств, и я, с своей стороны, решил не нарушать такого похвального обычая. Более того, я хочу отличиться в этом от своих предшественников; часто и даже очень часто дожидались они, пока их оруженосцы сделаются старыми, потеряют силы у них на службе и утомятся от беспокойных дней и еще более беспокойных ночей; тогда они давали им титул графа или маркиза с более или менее значительною областью в придачу. Но если мы оба будем живы, может случиться, что я менее, чем в пять или шесть дней покорю королевство, окруженное несколькими подвластными королевствами, вот тогда-то ты будешь коронован королем одного из них. И ты не удивляйся этому: рыцарям приходится встречать приключения такие необыкновенные, удивительные, что мне было бы легко дать тебе даже больше, чем я обещаю.

– В таком случае, – проговорил Санчо, – если, благодаря одному из этих чудес, я сделаюсь королем, то моя жена Хуана Гутьерес – чего доброго – будет, стало быть, королевой, не больше и не меньше, а дети мои – инфантами.

– Кто же в этом сомневается? – сказал Дон-Кихот.

– Я, – отвечал Санчо Панса, – потому что если бы Бог посылал, как дождь, короны на землю, то и тогда ни одной не пришлось бы по голове Марии Гутьерес; знайте, господин, такая королева не стоит и двух мараведисов. Еще графинею быть пристало ей лучше, и то да поможет ей Бог в этом.

– Ну и предоставь это Богу, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – Он подаст твоей жене то, что будет ей всего подходящее. Но ты никогда не удовлетворяйся меньшим, чем титул, по крайней мере, правителя области.

– Конечно, – ответил Санчо, – в особенности имея в вашей милости такого могущественного господина, который сумеет дать то, что лучше всего подойдет к моему росту и что могут вынести мои плечи.

ГЛАВА VIII

О блестящем успехе доблестного Дон-Кихота в ужасном и невообразимом приключении с ветряными мельницами, а также и о других событиях, достойных приятного воспоминания

В эту минуту они увидели на поле тридцать или сорок ветряных мельниц. Увидя их, Дон-Кихот сейчас же сказал своему оруженосцу:

– Судьба посылает нам дела даже лучшие, чем мы могли бы желать. Посмотри, друг Санчо, вот перед нами, по крайней мере, тридцать огромных великанов; я намереваюсь вступить с ними в битву и хочу убить их всех, сколько их есть. Добычею, отнятою у них, мы начнем свое обогащение, будет хорошим делом и большой заслугой перед Богом стереть с лица земли эту породу.

– Каких великанов? – спросил Санчо.

– Тех, которых ты видишь там, – ответил его господин, – с большими руками, длина которых равняется почти двум милям.

– Берегитесь же, – возразил Санчо, – то, что мы видим там, не великаны, а ветряные мельницы, а то, что вы принимаете за руки, – просто крылья, которые ворочаются от ветра и двигают мельничный жернов.

– Сразу видно, – сказал Дон-Кихот, – что ты неопытен в деле приключений: это великаны, говорю я тебе; и если ты боишься, то отойди подальше и стань на молитву, а я в это время дам им эту неравную, но страшную битву.

И сказав это, он дал шпоры своему коню Россинанту, не обращая внимания на уверения своего оруженосца Санчо, кричавшего ему, что, в самом деле, он нападает на ветряные мельницы, а не на великанов. Дон-Кихот же, в полном убеждении, что это – великаны, не слушал криков своего оруженосца Санчо и даже, когда был совсем близко, не узнал действительности. Напротив, он ехал все вперед, крича:

– Не бегите, подлые и презренные твари, на вас нападает только один рыцарь!

В это время поднялся маленький ветер, и крылья мельниц начали вращаться; видя это, Дон-Кихот крикнул:

– Можете размахивать руками сильнее, чем великан Вриарэ, все равно вы мне заплатите.

Он говорит это от глубины своего сердца, поручает себя своей даме Дульцинее, прося ее помочь ему в таком опасном деле, затем, прикрывшись щитом, направив копье и заставив Россинанта бежать самым сильным галопом, бросается и нападает на первую попавшуюся мельницу; но в ту минуту, когда он сильным ударом копья пробил насквозь крыло, ветер повернул это последнее с такою силою, что оно разломало копье в куски и потащило за собою лошадь и рыцаря, который и покатился по земле в самом несчастном состоянии.

Санчо Панса поспешил к нему на помощь, насколько хватило прыти у его осла, и, приблизившись, нашел, что господин его не может ничем двинуться, так как сильно расшибся при падении вместе с Россинантом.

– Господи помилуй! – сказал Санчо, – не говорил ли я вашей милости, чтобы вы остерегались это делать, потому что это – просто ветряные мельницы, и только тот может сомневаться в этом, у кого такие же мельницы в голове.

– Молчи, друг Санчо, – ответил Дон-Кихот, – дела войны более, чем какие-либо другие, подвержены постоянным превратностям; кроме того, по моему мнению, – и я в этом, кажется,

не обманываюсь – мудрый Фристон, похитивший мой кабинет и мои книги, превратил и этих великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы победы над ними – так непримирима его ненависть. Но, в конце концов, его проклятое искусство все-таки не победит силы моего меча.

– Да будет на то воля Божия, – отвечал Санчо Панса. И он помог своему господину сначала подняться, а затем влезть на Россинанта, у которого одна нога была наполовину вывихнута.

Разговаривая все еще о приключении, они направились по дороге к Лаписскому проходу, где, как говорил Дон-Кихот, не могло оказаться недостачи во всякого рода приключениях, так как этим местом ездило много народу. Дон-Кихот ехал сильно опечаленный тем, что потерял свое копьё и, разговаривая об этом прискорбном обстоятельстве с своим оруженосцем, сказал ему:

– Я читал, помнится мне, что один испанский рыцарь, но имени Диег Перес-де-Варгас, разбив в сражении свой меч, сломил с дуба здоровый сук и этим оружием в тот же день совершил столько подвигов и умертвил столько мавров, что получил название Палицы, которое он и его потомки с тех пор прибавляли к имени де-Варгас. Я говорю это тебе потому, что с первого же дуба или вообще с первого дерева, которое попадется мне на дороге, я хочу сломать такой же здоровый сук, я с ним надеюсь совершить такие подвиги, что ты почтешь себя счастливым, удостоившись быть свидетелем и очевидцем чудес, которым впоследствии весь мир поверит с трудом.

– Да будет воля Божья, – ответил Санчо, – и верю всему, что вы говорите. Но не мешало бы вашей милости немного выпрямиться; мне кажется, что вы держитесь довольно криво и, должно быть, еще чувствуете свое падение.

– Ты прав, – проговорил Дон-Кихот, – и если я не жалуясь на свою боль, то только потому, что странствующему рыцарю не позволено жаловаться ни на какие раны, хотя бы ему распустили живот и внутренности вывалились оттуда.

– Если это так, – возразил Санчо, – то мне нечего сказать более, но видит Бог, как бы я был рад, если бы ваша милость жаловались в тех случаях, когда вы ощущаете какую-либо неприятность. Что же касается меня, то я буду жаловаться при малейшей боли, если только, конечно, это запрещение жаловаться не распространяется также и на оруженосцев странствующих рыцарей.

Дон-Кихот не мог не посмеяться простоте своего оруженосца и объяснил ему, что он может совершенно спокойно жаловаться, когда и сколько ему будет угодно, по охоте или без всякой охоты, так как ничего противного этому он не читал в рыцарских законах.

Тогда Санчо заметил ему, что наступил час обеда, но Дон-Кихот ответил, что у него нет сейчас никакого аппетита, но что он, Санчо, может обедать, когда ему захочется. Получив это позволение, Санчо устроился, насколько мог удобнее, на своем осле и, вынув из сумки положенные туда запасы, продолжал путь сзади своего господина, закусывая с большим удовольствием; от времени же до времени он, запрокинув голову, пил из своего меха с такою ловкостью, что вселял бы зависть в любого кабатчика из Малаги. И когда он ехал, таким образом, попивая по глоточку, то он не думал ни об одном из обещаний, данных ему его господином, и считал вовсе не трудом, а скорее истинным отдохновением, отправляться на поиски за приключениями, даже самыми опасными, какие только могут быть.

Эту ночь они провели среди больших деревьев, у одного из которых Дон-Кихот отломил сухой сук, годный для того, чтобы, в случае нужды, служить копьём, и насадил на него железный наконечник от сломанного копья. Дон-Кихот не спал всю ночь, думая о своей даме Дульцинее, в подражание прочитанному им в книгах о том, как странствующие рыцаря проводили многие ночи без сна в лесах и пустынях, всецело занятые воспоминаниями о своих дамах. Санчо Панса провел ночь совсем иначе; желудок его был полон и полон не цикорной водой, поэтому он спал без просыпу и разбудить его не могли ни солнечные лучи, падавшие ему прямо

в лицо, ни пение тысячи птичек, радостно приветствовавших наступление нового дня: чтобы проснуться, ему нужно было услышать голос и зов своего господина. Открыв глаза, Санчо ласково погладил свой мех и, найдя его немного более тощим, чем накануне, опечалился в своем сердце, так как ему казалось, что им не придется наполнять его в скором времени. Что касается Дон-Кихота, то он отказался завтракать, предпочитая, как сказал он, подкреплять свои силы бодрыми воспоминаниями.

Они снова отправились по дороге к Лаписскому проходу и к трем часам пополудни прибыли к началу его.

– Здесь, – сказал Дон-Кихот при виде его, – здесь, друг Санчо, можем мы дать работу рукам до самых локтей в том, что называется приключениями. Но, будь осторожен! если бы даже ты увидел меня в страшной опасности, то и тогда ты не должен обнажать своего меча на защиту меня, разве только в том случае, если увидишь, что на меня нападает чернь или какие-нибудь негодяи, – только в этом случае ты можешь помочь мне; но если нападать будут рыцари, то рыцарские законы никак мы не допускают и не позволяют тебе являться на помощь мне, пока ты сам не будешь посвящен в рыцари.

– Поверьте моей чести, господин, – ответил Санчо, – в этом я буду добросовестно слушаться вашей милости: тем более, что я от природы очень миролюбив и всегда питал отвращение к вмешательству в шум и распри. Однако, предупреждаю вас, что если только дело коснется защиты своей собственной особы, то я мало буду обращать внимания на эти законы; потому что, в конце концов, законы божеские и человеческие позволяют каждому защищаться, кто бы ни напал на него.

– Я ничего не имею против того, – проговорил Дон-Кихот, – но что касается помощи мне против рыцарей, то в этом ты должен постараться сдерживать свою природную пылкость.

– Хорошо, – ответил Санчо, – я буду соблюдать этот приказ так же точно, как праздновать воскресенье.

В то время, как они так беседовали, на дороге показались два монаха из ордена св. Бенедикта, сидевшие верхом, и видимому, на двух дромадерах, так как мулы, на которых они ехали, казались не меньшего роста. На глазах у них были дорожные очки, а в руках – зонтики. Сзади них ехала карета, которую сопровождали четыре или пять человек верховых и два пеших конюха. В этой карете находилась, как стало известно потом, дама из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, собиравшийся отправиться в Индию на значительную должность. Монахи ехали не вместе с нею, но по одной дороге. Едва только Дон-Кихот заметил их, он сказал своему оруженосцу:

– Или я сильно обманываюсь или мне предстоит славнейшее приключение, какое только когда-либо видели, потому что эти черные привидения, появившиеся там, должны быть – и, без сомнения, это так и есть на самом деле – волшебники, которые везут в этой карете какую-нибудь похищенную принцессу, и на мне лежит долг употребить всю мою силу для исправления этого зла.

– Это приключение, – ответил Санчо, – кажется мне, будет еще хуже, чем приключение с ветряными мельницами. Будьте осторожны, мой господин, эти привидения – монахи бенедиктинцы, а карета принадлежит каким-нибудь путешественникам. Остерегайтесь, повторяю я, остерегайтесь делать то, что вы задумали, и пусть черт не соблазняет вас.

– Я уже тебе сказал, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – что ты мало понимаешь в деле приключений. То, что я сказал, совершенно верно, и мы это увидим сию же минуту.

Сказав это, он подвинулся вперед и стал посреди дороги, которой ехали монахи, и, когда он увидел их настолько близко к себе, что ему можно было услышать их, громко сказал им:

– Призраки и слуги дьявола! немедленно освободите высоких принцесс, которых вы силою увозите в этой карете; иначе готовьтесь принять скорую смерть, как справедливое возмездие за ваши злодеяния.

Монахи остановились и, не менее удивленные наружностью Дон-Кихота, чем его речью, ответили ему:

– Господин рыцарь, мы не призраки и не слуги дьявола, а просто два монаха ордена св. Бенедикта, едем своею дорогой и не знаем, сидят ли в этой карете высокие принцессы или нет.

– От меня не отделаться прекрасными словами, – снова проговорил Дон-Кихот, – и я хорошо вас знаю, бесчестная сволочь!

И, не дожидаясь ответа, он прищпорил Россинанта и, с опущенным копьем, бросился на первого монаха с такою силою и стремительностью, что, не свались тот заранее с своего мула, он был бы сброшен на землю с порядочною ранюю, если бы не был даже совсем убит ударом. Другой монах, видя, как поступили с его товарищем, обхватил ногами шею своего доброго мула и с быстротою ветра помчался по полю. При виде монаха лежащим на земле, Санчо Панса, легко соскочив со своего осла, бросился к упавшему и начал снимать с него платье. Между тем подбежали слуги двух монахов и спросили его, зачем он обирает их господина. Санчо ответил, что эта добыча принадлежит ему по закону, вследствие одержанной его господином победы. Слуги, не любившие шутить и не понимавшие прекрасных выражений о добыче и победах, заметили, что Дон-Кихот удалялся для переговоров с людьми, сидевшими в карете; поэтому они накинулись на Санчо, повалили его на землю и, вырвав сначала у него бороду почти до последнего волоса, начали потом осыпать его ударами до тех пор, пока он не растянулся на земле бездыханным и беспамятным. Монах, не теряя ни минуты, снова влез на своего мула дрожащий, испуганный и без кровинки в лице; затем, устроившись верхом на нем, он направился к своему товарищу, который ожидал его на некотором расстоянии, посматривая, что произойдет из этой внезапной суматохи; и оба они, не желая ожидать конца приключения, поехали дальше своею дорогою, творя крестные знамения чаще, чем если бы за ними по пятам гнался дьявол.

Что же касается Дон-Кихота, то он вступил в разговор, как уже сказано, с дамой в карете; он сказал ей:

– Ваша красота, сеньора, может отныне располагать собою по своему желанию, ибо там валяется теперь во прахе гордость ваших похитителей, ниспровергнутая этой грозной рукой. И чтобы вам избежать затруднения в угадывании имени вашего избавителя, знайте, что я Дон-Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь, плененный несравненно-прекрасной доньей Дульцинеей Тобозской. И в вознаграждение за услугу, оказанную мною вам, я прошу у вас только одного, это – отправиться в Тобозо, представиться от меня этой даме и рассказать ей все, что я совершил для вашего освобождения.

Всю эту речь Дон-Кихота слышал один из всадников, сопровождавших карету. Это был бискаец. Видя, как, вместо того, чтобы отпустить карету в путь, наш герой приказывает дамам немедленно отправиться в Тобозо, – бискаец подошел к Дон-Кихоту, схватил его копье и грубым, не то кастильским, не то бискайским языком, сказал ему:

– Уходи, рыцарь, что ты пристаешь? клянусь Богом, создавшим меня, если ты не отпустишь кареты, то так не верно, как то, что я бискаец, быть тебе мертвым.

Дон-Кихот понял его очень хорошо и с изумительным хладнокровием ответил:

– Если бы ты был рыцарем, на которого ты ни мало по похож, низкая тварь, то я бы наказал твою дерзость и грубость.

На это бискаец возразил:

– Я – не рыцарь? Клянусь Богом, никогда христианин не лгал больше этого. Если ты бросишь копье и вытащишь свой меч, то скоро узнаешь это, когда полетишь ко всем чертям. Бискаец на суше, гидальго на море, гидальго – черт знает, а ты лжешь, если говоришь иначе.

– Это мы посмотрим, – отвечал Дон-Кихот. И, бросив копье на землю, он обнажает свой меч, берет щит и устремляется на бискайца с твердым намерением умертвить его.

Бискаец, видя его приближение, хотел было соскочить со своего плохого наемного мула, на которого он не мог положиться; но успел только обнажить свой меч. К своему счастью, находясь вблизи кареты, он имел возможность схватить одну подушку, которая и послужила ему щитом. Вслед за тем они бросились друг на друга, как будто они были смертельными врагами. Присутствовавшие хотели было разнять их; но это оказалось невозможным, так как бискаец клялся на своем странном языке, что если будут мешать поединку, то он убьет и госпожу свою и всякого, кто осмелился бы вступиться. Дама в карете, одновременно и удивленная и испуганная всем ею виденным, приказала кучеру свернуть немного в сторону и на некотором расстоянии стала смотреть на страшную встречу.

В этой битве бискаец обрушился таким свирепым ударом меча на плечо Дон-Кихота, что, не прикроясь последний щитом, он был бы рассечен до самого пояса. Дон-Кихот, почувствовав тяжесть этого удара, издал громкий крик и сказал:

– О, владычица моей души, Дульцинея, цвет красоты, помогите вашему рыцарю, который, желая угодить вам, как вы того заслуживаете, находится в такой крайности. Произнести эти слова, сжать меч, прикрыться щитом и напасть на бискайца – было делом одного момента; он был убежден, что все зависело от единственного удара. Бискаец уже по одному виду, с каким приближался его противник, угадал его ярость и решился употребить тот же прием, какой употребил Дон-Кихот; поэтому он ожидал его, хорошо прикрывшись своей подушкой, но повернуть мула ему не удалось ни на ту, ни на другую сторону, так как бедное животное; измученное усталостью и мало привычное к подобного рода потехам, было не в силах сделать ни одного шага. И вот, как уже было сказано, Дон-Кихот бросился с поднятым мечем на благоразумного бискайца, решившись разрубить его пополам, бискаец же ожидал его с обнаженным мечем и под прикрытием подушки. Все присутствовавшие в страхе и с любопытством ожидали исхода этих ужасных ударов. Дама, сидевшая в карете, и ее служанки воссылали тысячи молитв и давали тысячи обетов наиболее уважаемым иконам и наиболее известным церквям Испании, моля Бога защитить их оруженосца и освободить их самих от опасности... Но, к несчастью, на этом самом месте автор этой истории оставляет битву нерешенной и в свое извинение говорит, что относительно этих подвигов Дон-Кихота он не нашел никаких других письменных свидетельств, кроме того, что было им уже рассказано. Однако другой автор этого сочинения не хотел верить тому, чтобы такая любопытная история могла быть поглощена рекою забвения, и чтобы у лучших умов Ламанчи не хватило заботливости сохранить в своих архивах и книгохранилищах рукописи, рассказывающие об этом славном рыцаре. Вот эта, именно, мысль и не позволяла ему терять надежду отыскать конец этой занимательной истории и, действительно, он нашел этот конец – каким способом, это будет сообщено во второй части.

ГЛАВА IX

В которой происходит и оканчивается битва между храбрым бискайцем и доблестным уроженцем Ламанчи

Мы оставили в первой части этой истории мужественного бискайца и славного Дон-Кихота с обнаженными и поднятыми мечами, готовых обрушиться друг на друга двумя такими яростными ударами острой стали, что, нанеся они их полностью, они разрубили бы друг друга сверху до низу и открылись бы пополам подобно двум разрезанным яблокам, но именно на этом то опасном месте мы видим эту интересную историю оставшейся без продолжения; точно обрезанную, при чем автор даже не указал нам, где бы можно было найти ее продолжение. Это причинило мне большое огорчение: удовольствие, полученное от небольшого прочитанного, сменилось неудовольствием, когда я представил себе, как будет мне, трудно разыскать недостающее такому интересному повествованию. Тем не менее, мне казалось невозможным и несогласным, со всеми добрыми обычаями, чтобы для такого храброго рыцаря не осталось какого-нибудь мудреца, который бы возложил на себя обязанность описать его изумительные подвиги: в этом не ощущал недостатка ни один из странствующих рыцарей, про которых народ говорит, что они отправляются на свои приключения, и каждому из таких рыцарей всегда так кстати случалось иметь одного для двух мудрецов, описывавших не только все его дела и телодвижения, но выслеживавших даже его самые незначительные и пустые мысли, как бы глубоко они не были спрятаны. Не мог же такой доблестный рыцарь быть настолько несчастливым, чтобы не иметь того, что в такой широкой степени было дано Платиру и ему подобным. Поэтому не мог ли я допустить, что история была нарезана на куски и искалечена, и вину в этом приписать злобе всепожирающего и всеистребляющего времени, уничтожившего или скрывшего и эту историю. Кроме того, я говорил себе, так как между книгами нашего героя нашлись и, такие современные, как Средства, против ревности и Генаресские нимфы, и пастухи, то история его должна быть тоже современной и, даже, если предположить, что она не была написана, ее все-таки можно восстановить, пользуясь воспоминаниями жителей его деревни и окрестной страны.

Эта мысль не переставала занимать меня, и я горел самым сильным желанием узнать целиком жизнь и чудесные подвиги нашего славного испанца Дон-Кихота Ламанчского, свечка и зеркала ламанчского рыцарства, первого в наш век и в эти бедственные времена избравшего для себя призвание странствующего рыцаря, первого давшего обет исправлять несправедливости, помогать вдовам, защищать девиц, — даже таких девиц, которые верхом на лошади, с хлыстом в руке и со всею тяжестью и неудобством своей девственности, разгуливали по горам и долинам, так что, если, даже, какой-нибудь вероломный рыцарь, или вооруженный негодяй, или громадный великан и не употребляли над ними насилия, то все-таки такая девица под конец восьмидесяти лет жизни, не проведя ни одной ночи под крышею, сходила в могилу такую же целомудренною, как и родившая ее мать. Я говорю, что в этом отношении и во многих других наш великодушный Дон-Кихот достоин великих и вечных похвал; нельзя отказать в них и мне самому за весь тот труд, который я предпринял для разыскания конца этой занимательной истории, принимая, впрочем, в соображение, что, если бы небо, судьба и обстоятельства не пришли мне на помощь, то мир лишился бы приятного времяпровождения, которое теперь в течение почти двух часов доступно всякому, кто только пожелает прочесть эту историю со вниманием. Вот каким образом сделал я это открытие:

Находясь однажды в Толедо, на улице Алькалы, я увидел мальчика, продававшего старые бумаги торговцу шелковыми товарами. Я всегда питал истинную страсть к чтению, так что с удовольствием стал бы собирать клочки бумаг, выброшенных на улицу. Я читал их, побуждае-

мый моей природной склонностью, я взял одну из тетрадей, которые продавал мальчик, и увидел, что буквы были на ней арабские. Узнать-то я их узнал, но прочитать их я был, все-таки, не в состоянии, а потому стал посматривать по сторонам – нет ли по близости какого-нибудь обьиспанившегося мориска, который сумел бы прочитать их мне; найти такого толмача стоило мне небольшого труда, так как, если бы мне понадобился таковой даже для более уважаемого и более древнего языка, то и тогда я, наверное, нашел бы желаемое.¹³ И вот, когда случай привел мне одного, я сообщил ему о своем желании, вручив книгу. Он открыл ее посредине, почитал одну минуту и рассмеялся. Я спросил его, чему он смеется.

– Над одним примечанием, – сказал он – которое сделано на полях этой книги.

Я попросил его прочитать вслух это примечание. Он, все еще смеясь, продолжал:

– Вот что написано на полях: «Эта Дульцинея Тобозская, о которой так часто упоминается в этой истории, была, говорят, первой мастерицей солить свиней между всеми женщинами Ламанчи».

Когда я услышал имя Дульцинеи Тобозской, я был поражен; так как немедленно же вообразил, что эти бумаги содержат историю Дон-Кихота. Под влиянием этой мысли, я стал настоятельно просить мориска прочесть мне заглавие, и он, в угоду мне, переводя прямо с арабского на кастильский, сказал, что эта тетрадь начинается так: история Дон-Кихота Ламанчского, написанная арабским историком Сид Гамедом Бен-Энгели. Мне потребовалось не малое благо-разумие, чтобы скрыть радость, которую я испытал, услышав заглавие произведения. Я вырвал его из рук торговца шелком и купил все эти старые бумаги у ребенка за полреала; но, если бы у него хватило ума догадаться, как сильно я желаю их приобрести, он мог бы воспользоваться этим и нажать от продажи их более шести реалов.

Поспешно уйдя оттуда вместе с мориском, я ввел его за ограду собора и там просил его перевести мне по-кастильски все эти тетради или, по крайней мере, имеющие отношение к Дон-Кихоту, обещая уплатить ему за эту работу, сколько он пожелает. Он удовольствовался тем, что попросил полтора пуда изюма и четыре четверика пшеницы и дал слово мне перевести тетради, насколько возможно, верно и быстро. Я же, чтобы еще более облегчить дело и не упустить из рук такой драгоценной находки, увел мориска к себе, где он менее, чем в шесть недель, перевел всю историю так, как она рассказана здесь.

В первой тетради с замечательной верностью изображена битва Дон-Кихота с бискайцем; оба они находятся в том положении, в каком их оставила история, – с подмятыми мечами и закрывшихся один – щитом, другой – подушкой. Мул бискайца был нарисован с такою верно-стью, что на расстоянии мушкетного выстрела в нем можно было бы узнать наемного мула. Под ногами бискайца были написаны слова: Дон-Санчо-де-Аспейтия, так, вероятно, было его имя; у ног Россинанта можно было прочитать: Дон-Кихот. Россинант был чудесно представлен, – такой длинный, неуклюжий, тонкий и худой, с сильно выдавшимся крестцом и чахлой шеей, что своим видом он ясно свидетельствовал, как справедливо и удачно дал ему его господин название Россинанта. Около него находился Санчо Панса, придерживавший за недоуздок своего осла; у ног его была видна надпись, гласившая: Санчо Санкас, каковое имя происходило, вероятно, оттого, что он, как представлял его рисунок, имел толстый живот, короткое тело, слабые и кривые ноги; это объясняет прозвища Панса и Санкас, которые история дает ему попеременно.

Можно было бы отметить еще несколько мелких подробностей; но они имеют мало значения и не прибавляют ничего к истинности этой истории, то есть ее главному достоинству, ибо рассказ не может быть плох, если он только верен. Если и может возникнуть какое-либо сомнение в его искренности, так разве только то, что автор его – араб, а люди этой породы пользуются плохим доверием, но в этом отношении, вследствие ненависти, которую они к нам

¹³ Сервантес намекает на множество евреев в Толедо.

питают, писателя можно заподозрить скорее в замалчивании происшедшего, чем в том, что он перешел границы действительности. Таково, признаюсь, мое мнение; потому что, когда он мог бы и должен бы был распространяться в похвалах такому славному рыцарю, он, очевидно, обходит их молчанием; это – нехорошо, вообще, и еще хуже, если это делается намеренно, так как историки должны быть правдивы, точны и свободны от всякого пристрастия; ни личный интерес, ни страх; ни ненависть, ни дружба не должны уклонять их с пути истины, ибо истина есть мать истории – соперницы времени, хранилища человеческих деяний, свидетельницы прошедшего, примера настоящему, поучения будущему. Я знаю, что здесь найдут все, что только можно пожелать от самой приятной истории; если же чего-либо хорошего и недостает в ней, то в этом следует, по моему мнению, обвинять скорее собаку – автора,¹⁴ чем бесплодность сюжета. Затем, согласно переводу, вторая часть начинается таким образом.

При виде острых мечей, поднятых в воздухе двумя храбрыми и разъяренными противниками, всякий сказал бы, что сражающиеся грозят небу, земле и преисподней, – столько было могущества и решимости в их позах! Первым нанес удар пылкий бискаец и ударил с такой силой и яростью, что, не уклонись его меч с своего пути, этого одного удара было бы достаточно, чтобы положить конец страшной битве и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая звезда последнего, сохранявшая его для более важных дел, отвратила меч его противника, успевший только задеть левое плечо, и единственный вред, который он причинил, состоял в том, что он лишил вооружения всю эту сторону, захватив по дороге добрый кусок шлема и половину уха; все это с страшным громом упало на землю. Великий Боже! кто может рассказать, какую яростью исполнилось сердце сына Ламанчи, когда он это увидал! С меня довольно только сказать, что он снова поднялся на стременах и, сжав покрепче обеими руками свой меч, с такой яростью обрушился на бискайца, ударив его сразу и по подушке и по голове, что, не смотря на свою крепкую защиту, бедняку показалось, будто целая гора обвалилась на него. Кровь хлынула у него из носа, рта и ушей; он был уже готов, по-видимому, упасть с мула и, неминуемо, упал бы, если бы не обвил руками шеи животного. Но, все-таки, ноги его выскочили из стремян, затем и руки разжались, а мул, испуганный этим страшным ударом, побежал по полю и, после трех или четырех скачков, повалился вместе с своим всадником.

Дон-Кихот наблюдал все это с величайшим хладнокровием, когда же он увидел, что его противник упал, он соскочил с коня, быстро подошел к упавшему и, приставив острие копья между его глаз, предлагал ему сдаться, в противном случае угрожая отрубить ему голову. Бискаец, совсем разбитый, не мог ответить ни одного слова и ему пришлось бы очень плохо – настолько Дон-Кихот был ослеплен гневом – но дамы, которые сидели в карете и смотрели на бой, ежеминутно готовые упасть в обморок, подбежали к рыцарю и, осыпая его великими похвалами, стали умолять его сжалиться и, из любви к ним, пощадить жизнь их оруженосцу. На это Дон-Кихот, со значительною важностью и величием, ответил:

– Конечно, благородные и прекрасные дамы, я буду счастлив сделать то, чего вы требуете, но только под одним условием: пусть этот рыцарь дает мне обещание отправиться в деревню Тобозо и от моего имени представиться несравненной донье Дульцинее, которая может располагать им, как ей будет угодно.

Дрожащие и огорченные дамы, не пытаясь даже объяснить себе, чего желал Дон-Кихот, и не спрашивая, кто эта Дульцинея, обещали нашему герою, что их оруженосец в точности исполнит все то, что будет приказано ему рыцарем.

– В таком случае, – произнес Дон-Кихот, – полагаясь на ваше слово, я согласен даровать ему жизнь, хотя он вполне заслужил смерть.

¹⁴ Такими названиями награждали друг друга испанцы и мавры.

ГЛАВА X

О забавной беседе, которую вели между собою Дон-Кихот и Санчо Панса, его оруженосец

Спустя некоторое время Санчо Панса, с которым не совсем вежливо обошлись слуги монахов, поднялся и, наблюдая с большим вниманием битву своего господина Дон-Кихота, от всего сердца молил Бога даровать ему победу, чтобы его господин этой победой мог приобрести какой-нибудь остров и губернатором этого острова, согласно своему обещанию, сделать его, Санчо. Увидя потом, что поединок окончился и господин его собирается снова сесть на Россинанта, он подбежал поддержать ему стремя; но, прежде чем пустить его сесть, он стал перед ним на колени, попросил у него руку и поцеловал ее со словами:

– Соблаговолите, ваша милость, мой добрый господин Дон-Кихот, дать мне управление островом, завоеванным вами в этой жестокой битве; как бы велик он ни был, я чувствую в себе достаточно силы, чтобы управлять им так хорошо, как никто не управлял никаким островом во всем мире.

Дон Кихот ответил на это:

– Подожди, друг Санчо, это приключение не из тех, в которых завоевываются острова, это только – одна из встреч, обыкновенных на больших дорогах, – встреч, из которых можно извлечь только ту выгоду, что разобьешь себе голову и потеряешь ухо. Но вооружись терпением, нам предстоят еще другие приключения, благодаря которым я буду иметь возможность сделать тебя не только губернатором, но чем-нибудь получше. Санчо с живостью поблагодарил Дон-Кихота и снова поцеловал его руку и низ кирасы; он помог ему влезть на Россинанта, сам взобрался на своего осла и последовал за господином, который, позабыв думать о дамах в карете, быстро поскакал и вскоре въехал в лес, находившийся неподалеку.

Санчо старался поспевать за ним во всю прыть его осла; но Россинант бежал так быстро, что наш оруженосец скоро отстал и потому был принужден крикнуть своему господину, чтобы он его подождал. Дон-Кихот попридержал тогда Россинанта и дождался, пока к нему не присоединился его отставший оруженосец. Этот же, подъехавши, сказал ему:

– Мне кажется, господин, с нашей стороны было бы очень благоразумно укрыться где-нибудь в церкви, потому что вы так нехорошо поступили с человеком, с которым у вас произошел бой, что он, пожалуй, вздумает сообщить об этом святой германдаде и посадить нас в тюрьму. А право, если это случится, то нам придется порядком похлопотать, прежде чем удастся выйти из тюрьмы.

– Молчи – ты, – сказал Дон-Кихот, – где ты это видел, или читал, чтобы странствующий рыцарь был привлекаем к суду, какое бы количество смертоубийств он ни совершил?

– Я не знаю за собой никаких смертоубийств, – отвечал Санчо, – и во всю мою жизнь никто не мог упрекнуть меня в этом. Только я знаю хорошо, что тем, которые дерутся в стране, приходится иметь дело со святой германдадой, что я и хочу сказать.

– Ну, так не беспокойся, мой друг, – ответил Дон-Кихот, – я вырву тебя, если будет нужно не только из рук святой германдады, а даже из рук самих филистимлян. Но скажи мне; видал ли ты во всю свою жизнь, в целой вселенной, более храброго рыцаря, чем я? Читал ли ты в каких-нибудь историях про кого-нибудь другого, у которого было бы больше стремительности в нападении, больше твердости в битве, больше быстроты наносить удары и больше ловкости сбрасывать противника с лошади?

– По правде, сказать вам, – ответил Санчо, – я никогда не читал никакой истории по той причине, что не умею ни читать, ни писать; но осмелюсь сказать вам, что во всю мою жизнь я не служил более отважному господину, и молю Бога, чтобы Он не допустил вас поплатиться за

свою отвагу так, как я только что говорил. Но теперь я посоветовал бы вашей милости перевязать ваше ухо, потому что из него сильно течет кровь. У меня есть в сумке корпия и белая мазь.

– Все это было бы излишним, если бы я позаботился заранее приготовить банку бальзама Фьерабраса, – сказал Дон-Кихот, – достаточно было бы одной капли его, чтобы сберечь и время и лекарства.

– Что это за банка и что за бальзам? – спросил Санчо.

– Это такой бальзам, – ответил Дон-Кихот, – рецепт его остался у меня в памяти, – имея который нет надобности бояться ни смерти, ни смертельной раны. Поэтому, когда я его приготавливаю и отдаю тебе на хранение, ты должен делать только одно: если ты увидишь, что в какой-нибудь битве меня перерубили пополам, как это много раз бывало, то поспеши подобрать упавшую на землю часть моего тела и, пока еще не застыла кровь, приставь эту часть, насколько возможно, ровнее к другой половине, которая осталась в седле, заботясь при этом, чтобы обе части тела прижились друг к другу как можно плотнее; затем ты мне дашь выпить только два глотка этого бальзама, и после этого опыта я предстану пред тобою свежее, чем роза.

– Если это так, – проговорил Санчо, – то я с этой минуты отказываюсь от губернаторства на обещанном острове и в награду за мои добрые и многочисленные заслуги желаю только, чтобы ваша милость дали мне рецепт этой чудесной жидкости; я думаю, что она везде будет стоить, по крайней мере, два реала за унцию, а в таком случае мне больше ничего не надобно, чтобы порядочно и без забот прожить всю жизнь. Но вопрос в том – дорого ли будет стоить приготовить побольше этой жидкости?

– Менее чем на три реала, – сказал Дон-Кихот, – этого бальзама можно приготовить более трех пинт.

– Великий Боже! – воскликнул Санчо, – что же вашей милости мешает сделать его и научить меня этому?

– Погоди, друг, – ответил Дон-Кихот, – я надеюсь научить тебя многим другим секретам и осчастливить многими другими милостями, теперь же помоги мне полечиться, потому что это ухо причиняет мне больше страданий, чем я бы желал.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но едва Дон-Кихот заметил свой разбитый шлем, он едва не потерял рассудка; положив руку на меч и подняв глаза к небесам, он воскликнул:

– На четырех Евангелиях я на каком угодно месте в них приношу клятву Творцу всей вселенной вести жизнь такую, какую вел великий маркиз Мантуанский, когда он поклялся отмстить за смерть своего племянника Бальдовиноса, то есть не есть хлеба со скатерти, не любезничать с женщиной и отказаться от многого другого (чего я сейчас не могу припомнить, но я подразумеваю все это в моей клятве) до тех пор, пока не произведу страшного мщения над тем, кто причинил мне такое повреждение.

Услыхав это, Санчо сказал ему:

– Обратите внимание, ваша милость, господин Дон-Кихот, на то, что, если рыцарь исполнит данное вами ему поручение, отправившись представиться госпоже Дульцинее Тобозской, то он тем заплатит вам свой долг, и не будет заслуживать более никакого наказания, если только, конечно, он не совершит нового проступка.

– Ты заметил это очень разумно и, как нельзя лучше, указал на затруднении, – ответил Дон-Кихот; – и потому я уничтожаю мою клятву в том, что касается мщения виновному; но повторяю и подтверждаю ее снова относительно упомянутого мною образа жизни, который я буду вести до тех пор, пока не отниму у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же прочного и прекрасного. И не думай, Санчо, что я говорю это на ветер, нет! в этом я даже не лишен образца, потому что точь-в-точь также произошло со шлемом Мамбрина, стоившим так дорого Сакрипану.

– Э, господин мой, – возразил Санчо, – пошлите вы к черту все эти клятвы, так же вредные для здоровья, как и стеснительные для совести. Скажите мне, пожалуйста, что будем делать

мы в том случае, если мы, как нарочно, не встретим человека, наряженного в шлем? Будете ли вы тогда исполнять вашу клятву, несмотря на многие неприятности и неудобства, как, например, – спать совсем одетым, не спать в жилом месте, и тысячу других наказаний, содержащихся в клятве этого старого безумца маркиза Мантуанского, которую ваша милость хотите теперь подтвердить? Подумайте только, прошу вас, что этими дорогами не ездят вооруженные люди, а только погонщики мулов да ямщики, которые не только не носят шлемов, но даже никогда и не видали этого рода головного убора.

– Ты в этом ошибаешься, – возразил Дон-Кихот, – потому что не проедем мы и двух часов по этим перекрещивающимся дорогам, как увидим вооруженных людей более, чем перед замком Альбраки, в войне за прекрасную Алгелику.

– Тогда вперед и пусть будет так! – сказал Санчо, – пусть будет угодно Богу, чтобы все шло так хорошо, и чтобы поскорее наступила та минута, когда будет завоеван этот остров, стоивший мне так дорого, – хотя бы я умер от радости при этом!

– Я уже сказал тебе, Санчо, чтобы ты не беспокоился об этом; допустим даже, что мы не найдем острова, то вот тебе, например, королевство Динамаркское или Собрадискское, которые точно созданы для тебя, как кольцо для пальца; они тебе тем более подходящи, что расположены на твердой земле. Но оставим это до поры до времени. Посмотри в сумке, нет ли у тебя чего-нибудь поесть, а потом мы отправимся на поиски какого-нибудь замка, где бы мы могли провести ночь и приготовить этот бальзам, о котором я тебе говорил; потому что, право, это ухо причиняет мне жестокие страдания.

– У меня есть одна луковица, немного сыру и, не знаю, сколько-то черствых корок хлеба, – сказал Санчо, – но эти блюда, пожалуй, не годятся для такого храброго рыцаря, как вы.

– Какая глупость! – воскликнул Дон-Кихот. – Знай, Санчо, что не есть по целому месяцу составляет славу странствующих рыцарей; когда же они едят, то довольствуются тем, что найдут под рукой. Если бы ты прочитал столько историй, сколько я, то ты бы не сомневался в этом. Я прочитал их тысячи, и ни в одной из них я не встречал упоминания, чтобы странствующие рыцари ели, кроме редких случаев и нескольких великолепных праздников, даваемых в честь их, чаще же они питались одним воздухом. И хотя не следует думать, чтобы они могли жить, не евши и не удовлетворяя других естественных надобностей, потому что ведь все-таки они были такие же люди, как и мы, но отсюда следует заключить, что, находясь по обыкновению среди пустыней и лесов и не имея при том повара, они для своих обыденных обедов удовольствовались такими же грубыми кушаньями, какие ты мне предлагаешь сейчас. Поэтому, друг мой Санчо, не огорчайся тем, что доставляет мне удовольствие, и не пытайся переделать мир и изменить древние обычаи странствующего рыцарства.

– Прошу извинения, – ответил Санчо, – не умея ни читать, ни писать, как я уже вам сказал, я не мог приобрести познаний в правилах рыцарских занятий; но с этих пор я буду снабжать сумку всякого рода сухими плодами для вашей милости, как рыцаря; для себя же, так как я не рыцарь, я буду припасать другие, более существенные предметы.

– Я не говорю того, Санчо, – возразил Дон-Кихот, – будто бы странствующие рыцари были обязаны не есть ничего, кроме плодов, о которых я тебе говорил; я сказал только, что их обычная пища должна состоять из плодов и некоторых растущих на поле трав, которые они умели распознавать и которые я тоже знаю.

– Это очень полезно, – сказал Санчо, – знать такие травы и, если я не ошибаюсь, такое знание пригодится нам не один раз.

После этого, он вытащил из сумки все, что, по его словам, у него было, и оба вместе мирно занялись едой. Но, так как на ночь им желалось отыскать ночлег, то они торопились поскорее покончить с своим сухим и бедным ужином. Затем они сели опять на своих животных и поспешили отыскать какое-нибудь жилище засветло; но, когда они подъехали к шаламам пастухов коз, солнце уже, скрылось, а с ним вместе скрылась и их надежда найти то, чего

они искали. Поэтому они и решили здесь провести ночь. Насколько велика была досада Санчо, когда им не удалось найти жилого места, настолько же сильную радость испытывал его господин при мысли о возможности спать под открытым небом, потому что, в глазах Дон-Кихота, каждый случай такого рода являлся как бы новым актом воздержания, облегчавшим для него испытания в ордене странствующего рыцарства.

ГЛАВА XI

О происшедшем между Дон-Кихотом и пастухами

Пастухи оказали Дон-Кихоту хороший прием; Санчо, пристроив поудобнее Россинанта и своего осла, направился тоже к ним, соблазненный запахом, который издавали несколько кусков козьего мяса, варившиеся в котелке на огне. Он хотел было немедленно же осведомиться, сварилось ли мясо настолько, чтобы можно было отправить его из котелка в желудок; но этого он не успел сделать, потому что пастухи сняли уже котелок с огня. Они постлали на землю несколько бараньих кож, старательно собрали свой простой ужин и очень гостеприимно пригласили двух пришельцев разделить его с ними. Все они – компания состояла из шестерых – сели, поджав ноги, вокруг кож, попросив сначала со своею деревенскою вежливостью Дон-Кихота сесть на деревянное корыто, опрокинутое ими для того, чтобы оно могло служить сиденьем. Дон-Кихот сел и Санчо же стал сзади него, чтобы подавать ему пить из простой роговой чаши. Его господин, увидав, что он стоит, сказал ему:

– Чтобы ты видел, Санчо, какие преимущества заключает в себе странствующее рыцарство, и насколько всякий, по какому-либо праву, принадлежащий к нему, достоин почестей и уважения, – я хочу, чтобы ты сел рядом со мною и, в обществе этих добрых людей, представлял одно со мною, твоим хозяином и природным господином, чтобы ты ел с одного блюда со мною и пил из той же чаши, из которой пью я; ибо о странствующем рыцарстве можно сказать точь-в-точь тоже самое, что о любви, которая равняет всех и все.

– Много благодарен, – ответил Санчо, – но осмелюсь доложить вашей милости, что я, стоя и в сторонке, угощаюсь так же хорошо и даже еще лучше, чем сила бок о бок с самим императором; и даже, по правде сказать, мне доставляет больше удовольствия есть хотя бы только лук да хлеб, но за то в своем уголке и без всяких церемоний, чем кушать индейку за таким столом, где надо жевать медленно, пить маленькими глотками, каждую минуту утираться, и где я не могу ни чихнуть, ни кашлянуть, когда мне захочется, ни позволить себе другие вольности, которые допускают уединение и свобода. Поэтому, господин мой, те почести, которые ваша милость хотите оказать мне, как члену странствующего рыцарства и вашему оруженосцу, благоволите превратить во что-нибудь другое, что представляло бы для меня больше пригодности и пользы, потому что от этих почестей, хотя я их и высоко ценю, я отныне и до века отказываюсь.

– Все-таки ты сядь, – сказал Дон-Кихот, – Бог возносит смиряющегося; – и, взяв его за руку, он заставил его сесть рядом с собою.

Пастухи, ничего не понимавшие в этом языке оруженосцев и странствующих рыцарей, продолжали есть, молча и поглядывая на своих гостей, которые тоже с хорошим аппетитом и с наслаждением уписывали куски величиною в кулак. Покончив с мясным блюдом, пастухи высыпали на кожи некоторое количество сладких желудей и поставили на ту же скатерть половину такого твердого сыра, как будто он был сделан из известки. Между тем рог не бездействовал: он с такою быстротою ходил вокруг, являясь то полным, то пустым, подобно ковшам водоливного колеса, что вскоре осушил один из двух имевшихся мехов.

Когда Дон-Кихот вполне удовлетворил свой желудок, он взял горсть желудей, подержал в своей руке и, со вниманием посмотрев на них, выразился приблизительно так:

– Счастливы те времена, которым древние дали имя золотого века, счастливы не потому, что этот металл, так высоко ценимый в наш железный век, добывался без всякого труда в ту блаженную эпоху, но потому, что жившие тогда не знали этих двух слов: твое и мое. В то святое время все вещи были общими. Чтобы добыть себе нужное для ежедневного поддержания жизни, каждому стоило только протянуть руку и достать себе пищу с ветвей могучих дубов, которые свободно приглашали его насладиться их вкусными плодами. Светлые ручейки

и быстрые речки в изобилии предлагали каждому свои прозрачные, восхитительные воды. В расщелинах скал и дуплах деревьев трудолюбивые пчелы устраивали свои республики, безвозмездно предоставляя рукам первого пришедшего обильную жатву своего мирного труда. Как будто желая быть предупредительными, крепкие пробковые деревья обнажали сами себя от широкой и толстой коры, которою люди начали покрывать хижины, воздвигнутые на простых столбах с единственной целью иметь убежище от небесных невзгод. Всюду были мир, дружба, согласие. Кривое железо тяжелого плуга не дерзало еще открывать и разрывать темную утробу нашей первой матери, ибо последняя и без принуждения, на всех местах своего обширного и плодородного лона, предлагала все нужное для питания и наслаждения произведенных ею детей. В это же самое время прекрасные и невинные пастушки бродили по холмам и лугам, с непокрытой головой, с волосами, ниспадающими длинными прядями, и без всяких лишних одежд кроме тех, которые скромно прикрывали то, что целомудрие прикрывало и всегда будет прикрывать. Их украшения нисколько не походили на те, которые носят теперь, и не были такими дорогими; они не украшали себя ни шелков, ни тирским пурпуром, а вплетали себе в волосы только листья плюща и в этом наряде казались такими же прекрасными и величественными, как и наши придворные дамы, прибегающие для своего украшения к причудливым и дорогим выдумкам – плодам их праздности и любопытства. Нежные движения души обнаруживались тогда просто, непринужденно, – именно так, как они чувствовались, и не искали для своего выражения ложных оборотов искусственного языка. Обман, ложь, злоба не являлись еще и не примешивались к откровенности и доверию. Царствовали одна справедливость, страсти же и себялюбие, теперь преследующие и угнетающие ее, не осмеливались тогда выплыть своего голоса. Дух произвола не овладевал еще умами судей, ибо в то время некого и нечего было судить. Молодым девушкам с их неразлучною спутницею – невинностью, где бы они ни находились, как я уже сказал, не было причин опасаться бесстыдных речей и преступных покушений; если и случалось им падать, то это происходило по их доброй воле. В наш же развращенный век, ни одна девушка не может считать себя безопасной: хоть будь она заперта и спрятана в новом критском лабиринте, услуги проклятого волокитства вползут через его малейшие щели, вместе с воздухом проникнет любовная чума, и тогда прощай все добрые правила!... Вот для исцеления этого-то зла, которое с течением времени не переставало расти вместе с развращенностью, был учрежден орден странствующих рыцарей, чтобы оказывать защиту девушкам, покровительство вдовам, помощь сиротам и нуждающимся. Братья пастухи! я принадлежу к этому ордену и благодарю вас за любезный прием, оказанный вами мне и моему оруженосцу. Хотя, по естественному закону, все живущие на земле обязаны помогать странствующим рыцарям, но вы, и не зная этой обязанности, тем не менее приняли меня и обошлись со мной хорошо; а потому, по справедливости, я должен от всего сердца поблагодарить вас за ваше доброе расположение.

Всю эту многословную речь, ради которой, пожалуй, ему и не стоило бы трудиться, наш рыцарь произнес только благодаря тому, что предложенные ему желуди возбудили в нем воспоминания о золотом веке и внушили мысль обратиться, кстати или некстати, с этой речью к пастухам, слушавшим его молча и с изумлением. Санчо тоже хранил молчание, глотая желуди и частенько посещая другой мех, который повесили на ветвях пробкового дерева, чтобы сохранить вино более свежим. Дон-Кихот говорил долго, почти до конца ужина; когда же он кончил, один из пастухов сказал:

– Для того, чтобы ваша милость, господин рыцарь, могли по справедливости сказать, что мы угостили вас, как могли, мы хотим доставить вам также удовольствие и развлечение, заставив одного из наших товарищей, который скоро вернется, спеть песню. Он – пареньмышле-

ный и влюбчивый, кроме того, он грамотный, да еще и музыкант, так как чудесно играет на рабеле.¹⁵

Не успел пастух произнести последние слова, как присутствующие услышали звук рабеля и почти одновременно увидели игравшего на нем красивого парня, лет двадцати двух. Товарищи спросили его, ужинал ли он; он отвечал утвердительно. Тогда хваливший его таланты сказал ему:

– В таком случае, Антонио, ты доставишь нам большое удовольствие, если споешь что-нибудь; пусть этот господин, наш гость, узнает, что в горах и лесах тоже попадаются порядочные музыканты. Мы хвалили ему твои таланты, а теперь покажи их сам и докажи, что мы говорили правду. Поэтому, сядь, пожалуйста, и пропой нам романс о твоей любви, тот, который составил твой дядя церковник и который так понравился всем в нашей деревне.

– С охотой, – ответил молодой человек. И, не заставляя себя просить более, он сел на дубовый пенек, настроил рабеля и после этого очень мило пропел свой романс:

«Олалья, знаю я наверно,
Что я тобой любим,
Хоть речь твоя скрытна чрезмерно
И взгляд неуловим.

«Тебе любовь моя не тайна —
В том счастья мне залог:
Кто страсть в другом открыл случайно,
Сам полн ее тревог.

«Ах, правда, часто безучастной,
Жестокой ты была,
И думал я, что у прекрасной
Не сердце, а скала.

«Но вопреки пренебреженью,
Уму наперекор,
Надежды верил я внушенью,
Ее я видел взор.

«Тебе таить любовь в молчанье
Стыд девичий велел;
Постигнув то, я в упованье,
Что счастье – мой удел.

«Когда простое уверенье
В любви – права дает,
Ужели к цели обхожденье
Мое не приведет?

«Взгляни на мой наряд привычный,
Как он преображен!
И в праздники и в день обычный

¹⁵ Старинный испанский инструмент, похожий на скрипку с тремя струнами.

Кого б не скрасил он?

«Наряд с любовью неизменно
Рука с рукой идет;
Меня нарядным непременно
Всегда твой взор найдет.

«Оставил танцы для тебя я
И только в честь твою,
Когда луна взойдет, сияя,
Перед окном пою.

«О всех хвалах мной расточенных
Зачем упоминать? —
О девах ими огорченных
Довольно рассказать.

«Тереза Берроваль сказала,
Услышав раз меня:
«Глупец, стыдись! богиней стала
«Мартышка для тебя.

«Ну, чем нашел ты восторгаться?
«Ну, чем обворожен?
«На ней, не трудно догадаться,
«Румяна и шиньон».

«Я возразил. Она озлилась
И брата позвала.
Меж нами ссора приключилась;
Концом дуэль была.

«Олалья, верь! не увлечение
Мою волнует кровь —
Прими свободы приношение
И вечную любовь.

«Пусть церковь узами святыми
Сердца соединит
И нас молитвами своими
На брак благословит.

«Когда откажешь мне, — клянуся
Святым всем для меня! —
Уйду и раньше не вернуся,
Как капуцином, я.¹⁶»

¹⁶ Этот и следующие переводы стихов принадлежат М. О.

Пастух перестал петь. Дон-Кихот стал было просить его спеть еще что-нибудь, но Санчо Панса не дал на это своего согласия, чувствуя больше расположения ко сну, чем к слушанию песен.

– Ваша милость, – сказал он своему господину, – лучше бы вы теперь поискали себе приюта для ночлега, а то этим добрым людям после их дневной работы не годится проводить ночи в пении.

– Понимаю тебя, Санчо, – ответил Дон-Кихот, – и без труда замечаю, что после сделанных тобою посещений меха, тебе сон нужнее, чем музыка.

– Слава Богу! – произнес Санчо, – никто из нас не побрезговал.

– Не спору, – возразил Дон-Кихот, – так устраивайся себе, где и как тебе будет угодно; людям же моего звания приличествует более бодрствовать, чем спать. Однако было бы хорошо, Санчо, если бы ты показал мне ухо, которое, право, заставляет меня страдать более, чем нужно.

Санчо хотел повиноваться, но один из пастухов, увидав рану, просил Дон-Кихота не беспокоиться и сказал ему, что он знает лекарство, которое ее скоро излечит. Сорвав затем несколько листьев розмарина росшего там в изобилии, он пожевал их, смешал с небольшим количеством соли и, приложив крепко и привязав этот пластырь к уху, стал уверять, что ни в каком другом лекарстве нет надобности. Это, в самом деле, оказалось верным.

ГЛАВА XII

О том, что рассказал пришедший пастух тем, которые были с Дон-Кихотом

В это время пришел другой парень из тех, которые отправились в деревню за провизией. – Товарищи, – сказал он, – знаете ли, что случилось в нашей местности?

– Почем же мы можем знать? – отвечал один из них. – Ну, так знайте, – снова заговорил пастух, – что сегодня утром умер известный Хризостом, студент-пастух, и говорят, что умер от любви к этой проклятой Марселле, дочери богача Гильермо, которая бежит по нашим лугам в одежде пастушки.

– К Марселле, говоришь ты? – спросил один из пастухов.

– К ней самой, говорю я тебе, – отвечал парень. – И всего лучше то, что он в своем завещании велит похоронить себя, точно мавра, посреди полей и, именно, у подошвы утеса, где ключ Пробкового дерева; потому что, как говорят в народе (уверяют, будто бы он сам это высказывал), на этом самом месте он в первый раз увидел ее. Он приказывает еще кое-что, чего, как говорят члены нашего аббатства, непристойно и не следует исполнять, так как слишком отзывается язычеством. Напротив, его лучший друг, студент Амброзио, подобно ему тоже надевший пастушеское платье, говорит, что надо исполнить все без исключения и точь-в-точь так, как распорядился Хризостом; по этому поводу в деревне сильное волнение. Но все-таки, все говорят, что надо сделать так, как хотят Амброзио и все его приятели пастухи. Завтра с большою торжественностью предадут его погребению на том месте, про которое я вам уже говорил; это будет любопытно посмотреть и, если бы даже мне не было надобности завтра возвращаться в деревню, я все-таки непременно пошел бы туда.

– Так же сделаем и все мы, – отозвались пастухи, – мы бросим жребий, кому оставаться стеречь коз за других.

– Ладно, Педро, – сказал один из них, – но нет надобности прибегать к бросанию жребия; я останусь за всех. Не думайте, что я хочу принести этим жертву или не чувствую любопытства; вовсе нет! а просто потому, что заноза, два дня тому назад воткнувшаяся мне в ногу, мешает мне ходить.

– Тем не менее мы тебе благодарны, – ответил Педро.

Тогда Дон-Кихот попросил Педро оказать ему, кто этот умерший и эта пастушка. Педро ответил, что он знает только, что умерший был молодым человеком из благородного и богатого семейства, живущего в одном местечке в этих горах; что он несколько лет учился в Саламанке, по прошествии которых он вернулся в страну с репутацией очень ученого и начитанного.

– Говорят, – добавил Педро, – что он в особенности знал науку о звездах и все, что там наверху, в небе, делают солнце и луна; потому что он нам точь-в-точь предсказывал потемнения луны и солнца.

– Затмения, мой друг, а не потемнения, – прервал его Дон-Кихот, – так называется внезапное помрачение этих двух больших светил.

Но Педро, не обращая внимания на подобные пустяки, продолжал свой рассказ:

– Он угадывал также, какой год будет урожайным и какой – безурожайным.

– Неурожайным, хотите вы сказать, мой друг, – прервал его снова Дон-Кихот.

– Неурожайным или безурожайным, это – все одно, – ответил Педро. – И вот, говорю я, следуя его советам, его родственники и друзья все богатели и богатели. Этот год, говорил он, сейте ячмень, а не пшеницу; этот вы можете сеять горох, а не ячмень; в следующем году будет большой урожай для масла, а затем в течение трех лет вы не соберете его ни одной капли.

– Эта наука называется астрологией, – сказал Дон-Кихот.

– Не знаю, как она там называется, – возразил Педро, – но знаю только, что он знал все это и много других вещей. Наконец, не прошло нескольких месяцев со дня возвращения его из Саламанки, как в один прекрасный день его увидели бросившим свой длинный студенческий плащ и одетым в пастушеское платье и с посохом в руке. В то же время и его большой друг и товарищ по учению, Амброзио, тоже нарядился пастухом, и забыл вам сказать, что покойный Хризостом был большой мастер слагать песни, а все рождественские песнопения и представления, играемые нашими парнями на святках, были сочинены им и всем очень нравилась. Когда в нашей деревне увидели двух студентов одетых пастухами, то все были очень удивлены, и никто не мог догадаться, что им вздумалось так нарядиться. К этому времени отец Хризостома уже умер и оставил сыну в наследство большое состояние в виде движимого и недвижимого, кроме значительного числа крупного и мелкого скота, и много наличными деньгами. Молодой человек остался полным и единственным хозяином всего, и, по правде сказать, он вполне этого заслуживал, так как делал много добра, был добрым товарищем и другом честных людей и имел привлекательную наружность. Впоследствии узнали, что он переменял свое платье единственно для того, чтобы бегать по следам пастушки Марселлы, о которой вам уже говорили и в которую бедный покойный Хризостом был влюблен.

– Хотелось бы мне теперь сказать вам, что за создание эта Марселла; потому что вам, может быть и, даже, без сомнения, никогда не придется услышать ничего подобного, хоть проживите вы еще долее, чем старая Сарна.

– Скажите Сарра, – возразил Дон-Кихот, немогший выносить искажений пастуха.

– Сарра или Сарна – почти все равно, – ответил пастух, – если же вы, господин, будете придирааться ко всякому моему слову, то нам не придется и в целый год окончить. – Но помилуй, мой друг, – сказал Дон-Кихот, – между Саррой и Сарной есть разница. Впрочем, продолжайте вашу историю, я больше не стану вас прерывать.

– Надо вам сказать, дорогой мой господин, – снова заговорил пастух, – что в нашей деревне жил земледелец, по имени Гильермо, еще более богатый, чем отец Хризостома; кроме его большого богатства, Бог даровал ему дочку, мать которой умерла рождая ее на свет. Мать ее была сажая уважаемая во всей окрестности женщина. Я как будто сейчас вяжу ее доброе лицо, светлое подобно солнцу или луне; за свое трудолюбие и милосердие, мне думается, она теперь в другом мире покоится во славе Господа. С горя от смерти такой доброй жены вскоре умер и сам Гильермо, оставив дочь свою Марселлу малолетнею и богатою на попечение ее дяди, священника и владельца прихода в нашей местности. Девочка росла и, вырастая, становилась такою красивой, что напоминала нам свою мать. Та была очень красивой, а, все-таки, многие говорили, что дочка, со временем будет еще красивее ее. И действительно, когда ей едва исполнилось четырнадцать-пятнадцать лет, никто, видя ее, не мог не благословить Бога за то, что Он создал ее такою прекрасною; большинство же влюблялось в нее до безумия. Дядя воспитывал ее с большим старанием и, насколько возможно, в уединении; тем не менее, слух об ее замечательной красоте так распространился, что многие молодые люди не только этой местности, но даже на несколько миль в окружности, просили ее руки и докучали дяде своими предложениями. Но он был, по истине, добрым христианином, и хотя желал бы пораньше выдать ее замуж, но принуждать ее к этому ни за что не хотел и поступал он так вовсе не из желания попользоваться ее состоянием, которое должно было отойти от него вместе с выходом ее замуж. За это много хвалили священника на вечеринках, у нас в деревне. А вы, конечно, знаете, господин странник, что в таких маленьких местностях говорят обо всем и все пересуживают, и будьте уверены, как уверен в том я, что священник должен быть сторицею добр, чтобы заставить прихожан хорошо говорить о себе, в особенности, в деревнях.

– Совершенно верно, – воскликнул Дон-Кихот, – но продолжайте, пожалуйста, ваша история очень интересна и вы рассказываете ее очень мило.

– Пусть Господь не лишит меня своей милости, вот что главное! – сказал Педро. – И нужно вам, кроме того, сказать, что дядя всегда сообщал племяннице о представляющихся партиях и рассказывал о качествах каждого сватающегося, заставляя ее решать и выбирать по своему желанию; но она всегда отвечала, что еще не хочет выходить замуж, так как она еще молода и чувствует себя неспособной принять обязанности по хозяйству. Слушая эти извинения, казавшиеся ему основательными, дядя перестал ее торопить и стал ждать, пока она делается постарше и сама сумеет выбрать себе человека по сердцу; потому что, как он очень умно говорил, родители не должны устраивать жизнь своих детей против желания последних. Но вот в одно прекрасное утро, неожиданно для всех, спесивая Марселла переодевается пастушкой, и, несмотря на уговоры своего дяди и соседей, вместе, с другими девушками деревни, отправляется в поле и начинает сама сторожить стадо; после того, как она появилась со своею красотою перед всем народом, то, не сумею вам сказать, сколько богатых молодых людей, из благородных и крестьянских семейств, надели костюм Хризостома и отправились в поле ухаживать за нею.

В числе их, вы уже знаете, был и наш покойник, который, как говорили, не любил, а обожал ее. Не думайте однако, что, начав такую свободную жизнь и освободившись от всякого присмотра, Марселла сделала, хотя бы по наружности, что-либо такое, что могло бы послужить в ущерб ее непорочности; напротив, она берегла свою честь с такою строгостью, что из всех тех, которые ухаживали за ней и делали ей предложения, никто не мог и не может ласкать себя хотя бы малейшею надеждою получить желаемое. Она не избегает ни общества, ни разговора с пастухами и обходится с ними очень приветливо и благосклонно, но, как только кто-либо из них вздумает открыть ей свое намерение, хотя бы такое законное и чистое, каков брак, так сейчас же она спрашивает его от себя и не позволяет к себе приближаться ближе, как на расстояние мушкетного выстрела. С таким характером она делает у нас больше опустошений, чем сделала бы сама чума, если бы она здесь появилась; своею приветливостью и красотой она привлекает к себе сердца всех видящих ее, и они начинают вскоре угождать ей и любить ее, своею же холодностью и презрением она приводит их в отчаяние. И все они в один голос громко называют ее неблагодарной и жестокой и другими подобными именами, которые хорошо определяют ее характер, если вы, господин, пробудете здесь несколько дней, то вы услышите в этих горах и лугах звуки жалоб преследующих ее, но отвергнутых его ухаживателей.

Недалеко отсюда есть место, где растут двадцать больших буков, и между ними нет ни одного, на коре которого не было бы написано и вырезано имя Марселлы; иногда над ее именем найдете вырезанную корону, как будто ее обожатель хотел сказать этим, что Марселла есть истинная царица красоты. Здесь вздыхает один пастух, там изливается в жалобах другой; здесь слышатся песни любви, там – стансы грусти и отчаяния. Тот проводит целую ночь под дубом или у подошвы скалы, и солнце застает его погруженным в печальные мысли и несомкнувшим своих мокрых от слез ресниц; другой, в самый жаркий час летнего дня, растянувшись на горячем песке, не перестает вздыхать, моля жалости у неба. И тот, и другой, и все прочие покорены беззаботной, торжествующей прекрасной Марселлой. Всем нам, знающим ее, любопытно знать, чем кончится ее гордость и кто будет тем счастливецом, которому удастся покорить такой суровый нрав и овладеть такою длиною красотою. Все, что я вам рассказал, совершенно верно, как верно, я думаю, и то, что рассказал нам наш товарищ по поводу смерти Хризостома. Вот почему, господин, я советую вам присутствовать на его погребении: оно будет очень интересно, так как у Хризостома было много друзей; отсюда же до места, где он завещал себя похоронить, менее одной полумили.

– Я непременно поеду, – ответил Дон-Кихот, – благодарю вас на удовольствие, доставленное мне рассказом такой интересной истории.

– О, я не знаю, – возразил пастух, – и половины приключений с ухаживателями Марселлы; но, может быть, завтра, по дороге, мы встретим какого-нибудь пастуха, который и рас-

скажет нам еще о чем-нибудь. Теперь же вам бы хорошо пойти спать под крышу; потому что вечерняя роса может оказаться вредной для вашей раны, хотя вам положено такое лекарство, что нечего бояться ухудшения.

Санчо Панса, давно уже посылавший к черту пастуха и его болтовню, тоже стал настаивать, чтобы его господин шел спать в хижину Педро. Дон-Кихот пошел туда, но только с тою целью, чтобы, в подражание поклонникам Марселлы, посвятить остаток ночи воспоминаниям о своей даме Дульцинее. Что же касается Санчо Панса, то он постарался поудобнее устроиться между Россинантом и своим ослом и заснул, не как отвергнутый любовник, но как человек, с полным желудком и помятыми боками.

ГЛАВА XIII

В которой оканчивается история о пастушке Марселле и рассказываются другие события

Заря только что начала восходить на высоты востока, когда пятеро из шести пастухов поднялись, позвали Дон-Кихота и сказали ему, что, если он еще не покинул своего намерения идти смотреть любопытное погребение Хризостома, то они готовы его сопровождать. Дон-Кихот, более всего желавший этого, встал и приказал Санчо оседлать Россинанта и осла. Санчо проворно повиновался и, ни мало не медля, все отправились в путь.

Не успели они сделать и четверти мили, как, при повороте дороги, увидели шестерых пастухов, одетых в куртки из черных кож; их головы были увенчаны кипарисом и олеандром, в руках же они держали здоровые пальмовые палки. С ними вместе ехали верхом два господина, одетые в прекрасный дорожный костюм, в сопровождении трех пеших слуг. Сойдясь вместе, обе толпы вежливо приветствовали друг друга и, взаимно осведомившись о цели путешествия, узнали, что все направляются к тому месту, где должно происходить погребение; тогда они решили держать путь вместе. Один из всадников, обращаясь к другому, сказал:

– Мне кажется, господин Вивальдо, мы не будем сожалеть о том, что несколько запоздаем благодаря этой церемонии: она, вероятно, будет очень занимательной, если судить по тому, что нам рассказали эти добрые леди о покойном пастухе и о жестокосердой пастушке.

– Я тоже думаю, – отвечал Вивальдо, – да, чтобы видеть ее, я согласился бы запоздать не только на день, но даже на четыре дня.

Дон-Кихот спросил их, что они слышали о Марселле и Хризостоме. Путешественник отвечал, что сегодня утром они встретили этих пастухов и, видя их в таком траурном наряде, спросили, по какому поводу они так оделись, тогда один из пастухов рассказал им о красоте и жестокости пастушки по имени Марселлы, о множестве влюбленных в нее и о смерти этого Хризостома, на погребение которого они отправлялись. Одним словом, путешественник повторил все то, что Педро уже рассказал Дон-Кихоту.

За этим разговором последовал другой. Всадник, называвшийся Вивальдо, спросил Дон-Кихота, что заставляет его путешествовать вооруженным во время полного мира и в совершенно спокойной стране.

– Избранное мною звание и данные обеты, – ответил на это Дон-Кихот, – не позволяют мне ехать в ином виде. Покой, сладкое бездействие, лакомая еда выдуманы для изнеженных придворных; труд, заботы, оружие по праву принадлежат тем, которых мир называет странствующими рыцарями; я же имею честь быть членом, хотя и недостойным и самым последним, этого сословия.

Услыхав такие речи, все приняли его за сумасшедшего; но чтобы еще более в этом убедиться и узнать хорошенько, какого рода было его помешательство, Вивальдо опять навел разговор на занятия Дон-Кихота и спросил его: что такое – странствующие рыцари?

– Не приходилось ли когда-нибудь вам, господа, – ответил Дон-Кихот, – читать хроники Англии, где рассказывается о славных подвигах короля Артура, которого мы, кастильцы, называем Артусом, и о котором предание, известное во всем королевстве Англии, рассказывает, что он не умер, но был только чарами волшебников обращен в ворона и что со временем Артур придет и снова примет свою корону и скипетр – предание, сделавшееся причиною того, что с того времени ни один Англичанин, как это достоверно известно, ни за что не убивает ворона? Так вот, во времена этого доброго короля был учрежден славный рыцарский орден, названный орденом Круглого стола, и в это же время жили и любили друг друга точь-в-точь, как об этом рассказывается, Ланселот и королева Женьевра, имевшие своей поверенной и посредницей

почтенную дуэнью Квинтаниону; их любовь, вместе с дивным рядом других любовных приключений и рыцарских подвигов того же героя, воспевается в романсе, известном всякому в Испании: «Никто из рыцарей не был так хорошо принят дамами, как Ланселот по своем возвращении из Англии». С тех пор этот рыцарский орден, не переставая, развивался и распространялся в различных частях света, и к нему принадлежат такие знаменитые своими высокими подвигами рыцари, как храбрый Амадис Гальский с своими сыновьями и внуками до пятого колена, а также мужественный Феликс-Марс Гирканский, превосходящий все похвалы Тиран Белый и, наконец, почти современный наш непобедимый рыцарь Дон-Веланис Греческий. Вот, господа, что значит быть странствующим рыцарем и вот о каком рыцарском ордене говорю я вам; и я, хотя и грешник, присоединился к этому ордену и стараюсь поступать так, как поступали только что названные: мною рыцари... Это вам объяснит, почему я странствую по этим пустыням, отыскивая приключения, с твердым намерением броситься с самое опасное предприятие, какое укажет мне судьба, если только дело коснется помощи слабым и нуждающимся.

Эти слова окончательно убедили путешественников в том, что Дон-Кихот не в полном разуме и дали понять им, какого рода было его помешательство. Вивальдо – человек остроумный и веселого нрава – желая позабавиться во время дороги, решил дать Дон-Кихоту новый повод продолжать свои сумасбродные речи.

– Мне кажется, господин странствующий рыцарь, – сказал он ему, – что ваша милость принадлежите к самому строгому ордену, какой только существует на земле; если я не ошибаюсь, даже устав братьев картезианцев не так стеснителен.

– Может быть, и так же стеснителен, – отвечал Дон-Кихот, – но чтобы он был так же необходим для мира, – в этом я позволю себе сомневаться. По правде говоря, солдат, исполняющий приказания начальника, делает не меньшее дело, чем этот начальник. Я хочу тем сказать, что монахи в мире и спокойствии испрашивают у неба блага для земли; мы же, солдаты и рыцари, приводим в исполнение то, о чем они упоминают в своих молитвах, и распространяем это благо среди людей, действуя мы под покровом от невзгод погоды, но под открытым небом, подвергаясь и палящим лучам солнца и ледяному холоду зимы. Мы министры Бога на земле и орудия его правосудия. Но, так как дела войны и все другие, имеющие к ним отношение, могут исполняться только чрезмерным трудом, потом и кровью, то отсюда следует, что сделавшие из них свое призвание совершают дело неоспоримо большее, чем те, которые мирно и безмятежно довольствуются спрашиванием у Бога покровительства для слабых и несчастных. От меня, конечно, далека мысль, будто бы звание странствующего рыцаря святее звания затворившегося в монастыре инок; из испытываемых мною лишений я хочу вывести только то заключение, что это звание влечет за собою больше труда, страданий и бедствий и что избравшие его чаще подвергаются голоду, жажде, нищете, нечистоте. В самом деле, нельзя сомневаться в том, что странствующие рыцари минувших веков в течение своей жизни испытали много печали и страданий; и если некоторые из них и достигали, благодаря мужеству своих рук, трона, то, право, он стоил им много пота и крови. Кроме того, и достигшим такого высокого положения необходимо было покровительство волшебников и мудрецов, без чего не исполнились бы их желания и рушились бы их надежды.

– Таково же и мое мнение, – возразил путешественник, – но одно смущает меня в странствующих рыцарях, именно – когда им приходится отважиться на какое-нибудь большое и опасное приключение, то, в эти минуты, они не вспоминают Бога, чтобы поручить ему свою душу, что обязан делать всякий добрый христианин в подобном случае; напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром обожания, как будто бы они были для них Богом: это, по моему, отзывается язычеством.

– Сеньор, – ответил Дон-Кихот, – этого невозможно уничтожить, и рыцарь, который поступал бы иначе, принес бы самому себе вред. Среди странствующего рыцарства принято

и стало обычаем, чтобы странствующий рыцарь, готовясь вступить в бой в присутствии своей дамы, обращал к ней с влюбленным видом глаза, как будто взглядом прося ее помочь ему в опасности, которой он подвергается; и даже тогда, когда никто его не может слышать, он обязан сквозь зубы прошептать несколько слов, чтобы от всего сердца поручить себя ей. В историях существуют многочисленные примеры этого, но, однако, не следует думать, чтобы странствующие рыцари отказывались поручать свои души Богу; для этого у нет достаточно времени во время самого дела.

– Несмотря на то, – возразил путешественник, – у меня все-таки остается сомнение. Мне случалось много раз читать, что двое рыцарей, поспорив между собою, слово за слово, закипают враждою; они повертывают лошадей, разъезжаются на некоторое расстояние и сейчас же, без разговора, во всю прыть скачут друг на друга, поручая себя во время скачки своим дамам. Обыкновенно случается, что один из рыцарей надает с лошади, насквозь пронзенный копьем своего противника, да и другой тоже свалился бы на землю, если бы не успел удержаться за гриву своего коня. Когда же убитый имел время поручить себя Богу в течение так быстро свершившегося дела? Не лучше ли было бы для него, вместо того, чтобы употреблять слова, поручающие его даме, – употребить их для исполнения долга христианина? Тем более, что, по моему мнению, не у всех странствующих рыцарей есть дамы, которым бы можно было себя поручать, так как не все же они влюблены.

– Этого не может быть! – с живостью проговорил Дон-Кихот, – нет, не существует ни одного странствующего рыцаря без дамы, потому что для них так же естественно быть влюбленными, как для неба иметь звезды. Положительно можно сказать, что никогда не видели таких историй, в которых бы являлся странствующий рыцарь без любви; если же и появлялся, то он не считался там законным рыцарем, а выродком. Про него можно было бы сказать, что он вошел в крепость ордена не через большие ворота, а перелезши через стену подобно разбойнику и вору.

– Тем не менее, – возразил путешественник, – если мне память не изменяет, я, кажется, читал, что у Дон-Галаора, брата Амадиса Гальского, не было собственной дамы, которой он мог бы себя поручать в опасности; однако же это нисколько никому не мешало считать его очень храбрым и знаменитым рыцарем.

– Сеньор, – отвечал Дон-Кихот, – одна ласточка не делает весны. Кроме того, я знаю из хороших источников, что тайно этот рыцарь был сильно влюблен; его же склонность ухаживать за всеми дамами, каких только ему приходилось видеть, обусловливается его природным нравом, которого он был не в силах переделать. Но, как нельзя лучше, было доказано, что у него была дама, верховная властительница его дум и желаний, которой он часто поручал себя, но втайне, так как отличался чрезвычайною скромностью.

– Так как быть влюбленным – существенное качество всякого странствующего рыцаря, – снова заговорил путешественник, – то надо думать, что и ваша милость не нарушали этого правила своего звания, и если ваша милость не отличается такой строгой скрытностью, как Дон-Галаор, то я, от имени всего этого общества и своего собственного, настоятельнейше умоляю вас сообщить нам об имени, отечестве, звании и прелестях вашей дамы. Она, конечно, будет очень польщена, если весь мир узнает, что ее любят и ей служит такой рыцарь, каким являетесь ваша милость.

– Увы! – сказал Дон-Кихот, испуская глубокий вздох, – я не мог бы наверно сказать, желает или нет моя прелестная неприятельница, чтобы весь мир знал, что я – ее слуга. Я могу только сказать в ответ на обращенную ко мне с такою вежливостью просьбу, что имя ее – Дульцинея, отчество – Тобозо, ламанчская деревня; ее звание – по крайней мере, принцесса, ибо она моя царица и дама; наконец, ее прелести превосходят человеческие понятия, так как в них воплощается вся та красота, которою поэты в мечтах наделяли своих возлюбленных. Волосы ее – золото, ее чело – елисейские поля, ее брови – небесные радуги, ее глаза – солнце,

ее ланиты – розы, ее уста – кораллы, ее зубы – жемчуг, ее шея – алебастр, ее грудь – мрамор, ее руки – из слоновой кости, цвет же лица равен белизне снега, и, по моему, в тех прелестях, которые ее целомудрие похищает у взоров смертных, столько совершенства, что можно только ими восхищаться и восхвалять их, не находя выражений для сравнения.

– Теперь, – сказал Вивальда, – нам желательно было бы узнать ее происхождение и родословную.

На это Дон-Кихот ответил:

– Она не происходит ни от Курциев или Кайев, или Сципионов древнего Рима, ни от Колона или Урсини современного, ни от Монкада или Реквезенов Каталонских, ни от Ребелла или Рилланова Валенцианских, ни от Палафоксов, Нуза, Рокаберти, Корелла, Луна, Алогоннов, Урреа, Фоцов или Гурреа Аррогонских; ни от Серда, Манрико, Мендосов или Гусманов Кастильских, ни от Аленнастро, Лалья или Минезесов Португальских; она из рода Тобозо Ламанчского, – рода нового, правда, но которому, наверно, суждено послужить для грядущих веков знаменитою колыбелью славнейших фамилий. И пусть на это никто ничего не возражает, разве только согласившись на условия, написанные Зербином у подножия трофеев оружия Роланда:

Да не дерзает коснуться их никто, —
С Роландом будет драться он за то.

– Хотя бы мой род, – ответил путешественник, происходил от ларедских Качопинов,¹⁷ я и тогда не осмелился бы сравнить его с родом Тобозо Ламанчским; однако, по правде сказать, я до сих пор ничего не слышал об этом имени.

– Я крайне удивляюсь этому, – возразил Дон-Кихот.

Все путешественники с большим вниманием прислушивались к разговору, и вскоре даже для пастухов коз стало ясно, что их знакомый не в полном разуме. Только один Санчо Панса все, что говорил его господин, считал чистой истиною, так как он хорошо с самого своего детства знал, что за человек был Дон-Кихот. Если что и возбуждало его сомнения, так это подробности о прелестной Дульцинее Тобозской, потому что ему совсем не были известны ни это имя, ни эта принцесса, хотя он жил вблизи этой деревни.

Разговаривая таким образом, они продолжали свой путь и скоро увидели в ущелье между двумя высокими горами десятка два спускающихся вниз пастухов, одетых в черные шерстяные куртки, в тисовых и кипарисных венках, как оказалось потом. Шестеро из них несли носилки, покрытые множеством цветов и зеленых ветвей. При виде их один пастух коз воскликнул:

– Вот несут тело Хризостома, у подошвы этой горы он хотел быть похороненным.

Эти слова заставили всех ускорить шаги, и наши путешественники подошли в ту минуту, когда несшие поставили носилки на землю и четверо из них начали острыми ломомы рыть могилу у подошвы твердого утеса. Обе толпы, с вежливыми приветствиями, соединились вместе. Дон-Кихот и его спутники стали рассматривать носилки на которых был положен труп, одетый в костюм пастуха и весь засыпанный цветами. По виду, это был человек лет тридцати, красивый и прекрасно сложенный. Вокруг него и даже на самых носилках было разложено несколько книг и разных рукописей, раскрытых и закрытых.

Рассматривавшие его, как и рывшие могилу и все прочие присутствовавшие, сохраняли поразительную тишину, пока один из несших не сказал одному из своих товарищей:

– Смотри, Амброзио, про это ли самое место говорил Хризостом, потому что ты хочешь в точности исполнить все, о чем распорядился Хризостом в своем завещании.

¹⁷ Качопинами назывались в Испании все те, которых бедность вынудила переселиться в колонии.

– Это самое, – ответил Амброзио, – мой бедный друг сто раз рассказывал мне свою плачевную историю. Здесь, как говорил он мне, он в первый раз увидел эту безжалостную губительницу рода человеческого; здесь в первый раз он открылся ей в своей так же чистой, как и страстной любви; здесь, наконец, Марселла, своей холодностью, своим презрением заставила его окончательно предаться отчаянию и трагически окончить печальную драму его жизни... И здесь же, в воспоминание о стольких несчастьях, он хотел быть погруженным в лоно вечного забвения.

Обращаясь затем к Дон-Кихоту и путешественникам, он продолжал свою речь в следующих выражениях:

– Это тело, господа, рассматриваемое вашими полными жалости глазами, еще недавно заключало душу, которую небо одарило своими богатейшими дарами. Это тело Хризостома, единственного по уму и любезности, несравненного по благородству, феникса в дружбе, великодушного без расчета, гордого без надменности, веселого без пошлости, одним словом, человека, бывшего первым, как по своим достоинствам, так и по своим несчастьям. Он любил и был ненавидим; он обожал и был пренебрегаем; он хотел укротить дикого зверя, смягчить мрамор, догнать ветер, заставить услышать себя в пустыне; одним словом, он привязался к неблагодарности и она вознаградила его за это тем, что предала его смерти в середине жизни, прерванной одной пастушкой, которую он хотел сделать бессмертной в памяти людей. Это могли бы доказать бумаги, на которые вы обращаете свои взоры, если бы я не был обязан сжечь их, как только мы предадим его погребению.

– Это будет суровее, чем поступил бы с ними сам автор их, – сказал Вивальдо. – Несправедливо и неразумно исполнить в точности волю того, кто приказывает что-либо противное рассудку. Весь мир предал бы порицанию Августа, если бы он согласился исполнить волю божественного мантуанского певца. Поэтому, господин Амброзио, удовлетворитесь тем, что предайте земле тело вашего друга, но не предавайте забвению его произведений. Если приказания даны человеком в возбужденном состоянии, то вам нет основания становиться его слепым орудием. Напротив, оставляя жить эти писания, вы увековечите тем жестокость Марселлы, чтобы она служила примером для будущего времени и чтобы люди остерегались впасть в подобные же пропасти. В самом деле, мы, все присутствующие здесь, знаем о любви вашего друга и его отчаянии; нам известны привязанность, соединявшая вас с ним, причина его смерти и распоряжения, оставленные им, прежде чем положить конец течению своих дней; и эта грустная история превосходно показывает всем величие его любви, жестокость Марселлы, вашу преданность в дружбе, а также и печальный конец, ожидающий всех, кто слепо предается губительным соблазнам любви. Вчера вечером мы узнали о смерти Хризостома и о том, что его должны предать погребению в этом месте; и столько же из сочувствия, сколько из любопытства, мы свернули с дороги, чтобы посмотреть на того, рассказ о ком нас живо тронул. В вознаграждение за одушевляющее нас чувство, – увы! единственное, что мы можем предложить вам в несчастьи, – мы просил вас, благоразумный Амброзио, – по крайней мере, я, с своей стороны, умоляю отказаться от сожжения этих рукописей и позволить мне взять некоторые из них.

И, не дожидаясь ответа, Вивальдо протянул руку и взял несколько ближайших к нему листов. На это Амброзио сказал ему:

– Из вежливости, господин, я согласен оставить у вас то, что вы взяли; но вы сильно бы ошиблись, если бы подумали, что я могу отказаться от сожжения остального.

Вивальдо, горя желанием узнать, что заключали эти бумаги, тотчас же развернул одну из них и прочитал ее заглавие: Песнь отчаяния. «Вот, – сказал Амброзио, услышав это, – вот последние стихи, написанные несчастным, и чтобы все видели, до чего довели его страдания, прочитайте стихотворение вслух; вы успеете это сделать, пока кончат рыть могилу. – С удовольствием, – отвечал Вивальдо. Все присутствующие окружили его, так как все разделяли его любопытство, и он громко прочитал следующее:

ГЛАВА XIV

В которой приводятся и рассказываются другие неожиданные события

Песнь Хризостома

Когда, жестокая, ты хочешь, чтоб о дикой
Суровости твоей переходила
Молва из уст в уста и в род из рода,
То пусть сам ад груди моей печальной
Звук жалобный внушит и звуком этим
Заменит мой обычный голос.
И, моему желанью повинуюсь
Все рассказать: и о моем страданье
И о твоих поступках злобы полных,
Пусть страшный крик из уст моих раздастся
И к моему жестокому страданью
Прибавятся минут последних муки.
Внемли ж не песни гармоничным звукам,
Но гулу смутному, который рвется
Из глубины груди моей скорбящей
На зло тебе, а мне на утешенье.

Пусть льва рычанье, волка вой свирепый,
Ужасное в лесу змеи шипенье,
Неведомых чудовищ крик ужасный,
Пророческое воронов вещанье,
Свист бурю поднимающего ветра,
Быка предсмертное мычанье в цирке,
Стон жалобный покинутой голубки,
Совы в ночи таинственные крики
И вопль всей черной рати преисподней —
Пусть жалобе души моей все вторит
И все сольется в звук единый с звуком,
Который чувства возмутить все должен.
Чтоб рассказать правдиво о мученье,
Что сердце мне на части разрывает,
Нуждаюсь в новых я и сильных средствах.

Ни Того златоносного долины,
Ни сень оливковых лесов Бетиса
Того смятенья звуков не услышат,
На скалах лишь и в пропастях глубоких
На мертвом языке живая повесть
Моих терзаний всех распространите.

Внимать ей будут мрачные долины
И берега бесплодные морские
И те места, которые не видят
В году ни разу солнца золотого;
Внимать ей будут гадов мириады,
Гнездящиеся в иле тучном Нила.
И, прозвучав в пустынях диких, горя
Души моей, твоей же несравненной
Жестокости глухие отголоски,
Под покровительством судьбы злосчастной,
Во все концы вселенной разнесутся.

Пренебрежение смерть нам посылает;
Души восторженной святую веру
Измены призрак безвозвратно губит,
И сердце ревность нам язвит жестоко;
В разлуке долгой таят жизни силы,
И страху быть забытым никакая
Надежда противостоять не может —
Во всем грозит нам смерть неотвратимо.
Но я... но я, неслыханное чудо!
Все жив еще, и ревностью томимый,
И долгою разлукой, угнетенный
Пренебрежением и убежденный,
Что истинны мои все подозренья.
В забвении, когда любовь сильнее
Я чувствую, среди мучений стольких,
И тени взор надежды мой не ищет.
Отчаявшись, ее я не желаю —
Напротив, чтобы жаловаться мог я,
Клянуся избегать ее и вечно.

Возможно ли в одно и то же время
И страху и надежде предаваться?
И хорошо ли делать это, если
Для страха верные у нас причины?
Ужель глаза свои закрыть я должен,
Когда является пред ними ревность,
Когда ее я не могу не видеть,
Страдающий от тысяч ран жестоких,
Которыми душа моя покрыта?
Кто недоверчивость и страх отринет,
Когда увидит ясно равнодушие
И в подозрениях всех убедится
Своих из горьких опыта уронов,
Когда пред истиной глава прозреют
И истина предстанет без покрова?
О Ревность, о тиран Амура царства,
На руки эти наложи оковы!

Пренебреженье, казнью жизнь прерви мне! —
Но, нет! увы! жестокою победу
Свою над вами празднует Странанье!..
Я умираю, наконец, и, чтобы
Надежды не лелеять на вниманье
Твое ни в жизни этой, ни за гробом,
Останусь твердо при своем решенье.
Скажу, что счастье нам любовь приносит,
Что тот, кого рабом своим избрала
Она, — свободней всякого другого.
Скажу, что та, кого врагом считал я,
Душой прекрасна так же, как и телом,
Что в равнодушие я ее виновен
И что Амур страданья посылает
Нам, чтобы мир царил в его владеньях.
Пусть эта мысль и, жалкая веревка
Ускорят роковой конец, к какому
Меня презрение твое приводит,
И я умру, и прах мой ветер развеет,
И славы лавр меня не увенчает.

О, ты, которая жестокосердьем
Принудила меня расстаться с жизнью,
Кого я ненавижу и боюсь!
Взгляни на это раненое сердце;
Взгляни, как радостно оно трепещет,
Испытывая все твои удары.
И если окажусь я достойным,
Чтобы из глаз твоих слеза скатилась, —
Прошу, остановись в порыве добром:
Я сожаленья не приму в оплату
За стоившие жизни мне мученья.
Напротив, в эту мрачную минуту
Пусть смех раздастся твой и всем докажет,
Что праздник для тебя — моя кончина,
Но, как я прост, совет такой давая,
Когда твое в том состоит желанье,
Чтоб смерть моя скорее наступила!

Час пробил!.. Вас молю, страдалыцы ада!
Явитесь! Тантал, жаждою томимый,
Сизиф под бременем тяжелым камня!
Ты, Прометей, явись с своею птицей!
Иксион, не переставай вращаться!
Вы, дочери Даная, лейте воду!..
Пусть все они соединят мученья
Свои и ими сердце мне наполнят,
Пусть похоронную они мне песню
Споют (когда прилично петь над гробом

Того, кто кончил жизнь самоубийством).
Пусть песня эта прозвучит над телом,
Которого и в саван не оденут.
Пусть трехголовый сторож адский, Цербер,
И тысячи других химер и чудищ
Свой голос присоединят унылый
К напеву этой песни погребальной!
Какая тризна более прилична
Над гробом павшего от стрел Амура?

О песнь отчаянья! жестокосердой
Не призывай к погибшему участия,
Когда раздашься над моей могилой:
Чем с большей выскажешь печаль ты силой,
Тем более ты ей доставишь счастья.

Все присутствовавшие одобряли стихи Хризостома. Вивальдо, читавший их, заметил только, что эта песня кажется не совсем согласною с тем, что рассказывали о скромности и добродетели Марселлы; бедный влюбленный мучается, если судить по песне, ревностью, подозрениями, разлукой, а это все может служить только в ущерб доброй славе его возлюбленной. Но Амброзио, знавший самые тайные мысли своего друга, ответил:

– Надо вам сказать, господин, чтобы рассеять ваши сомнения, что в то время, когда несчастный сочинял это стихотворение, он находился вдали от Марселлы, покинутой им добровольно с целью испытать, имеет ли разлука для него ту силу, какое обыкновенно ей приписывают; а так как на отсутствующего любовника всегда нападают всякие подозрения и опасения, то, понятно, и Хризостом страдал слишком действительными муками ревности, которым, однако, основание было только в его воображения. Поэтому, остается вне всякого сомнения все, что утверждает заслуженная репутация Марселлы, которую, за исключением того, что она жестока, немного горда и довольно надменна, даже зависть не может упрекнуть в малейшем пороке.

Вивальдо ответил ему, что он прав, и собрался было уже прочитать другую из бумаг, спасенных им от огня, но этому помешало чудное видение, представшее его глазам. На утесе, у подошвы которого рыли могилу, появилась пастушка Марселлы с своей дивной, превосходившей всякие описания, красотой. Все – и не видавшие ее прежде ни разу, и привыкшие ее часто видеть – замерли на своих местах, погрузившись в безмолвное, восторженное созерцание. Но как только Амброзио ее заметил, он полным негодования голосом воскликнул, обращаясь к ней:

– Явилась ли ты, дикий василиск этих гор с ядовитым взором, нарочно, чтобы посмотреть, не потечет ли кровь из ран этого несчастного, у которого твоя жестокость отняла жизнь? Явилась ли ты порадоваться и насладиться гнусным торжеством твоего необыкновенного своеуправия? Или же ты хочешь с высоты этого холма видеть, подобно второму безжалостному Нерону, зрелище Рима, объятая пожаром, или попать ногами этот несчастный труп подобно тому, как бесчеловечная дочь Тарквиния попирала труп своего отца?¹⁸ Скажи же нам скорее: что приводит тебя сюда и чего ты желаешь от нас? Зная, насколько все мысли Хризостома были подчинены тебе во время его жизни, я уверен, что и теперь, когда его уже нет более, ты найдешь то же послушание среди всех, кого он называл своими друзьями.

¹⁸ Туллия, жена Тарквиния, велела проехать своей колеснице по трупу ее отца, Сервия Туллия. Сервантес, по рассеянности, делает ошибку, называя ее дочерью Тарквиния.

– Я явилась сюда не за тем, о Амброзио, зачем ты предположил, – ответила Марселла. – Я явилась только за тем, чтобы защититься и доказать, как неправы те, которые обвиняют меня в причинении им страданий и упрекают в смерти Хризостома. Поэтому я прошу вас, всех присутствующих здесь, выслушать меня со вниманием, – мне не потребуется ни много времени, ни много слов, чтобы обнаружить истину для таких разумных людей, как вы. Небо, по вашим словам, сотворило меня прекрасной; моя красота заставляет вас любить меня, и вы не можете противиться этому влечению: в награду же за любовь ко мне, вы говорите и требуете, чтобы и я любила вас. Благодаря природному разуму, дарованному мне Богом, я признаю, что все прекрасное – достойно любви, но я не признаю того, чтобы любимое, как прекрасное, обязано было за то только, что оно любимо, любить любящего его, тем более, что любящий прекрасное сам может быть дурен; и так как все дурное заслуживает только отвращения, то было бы странно сказать: я люблю тебя, потому что ты прекрасна, ты должна любить меня, хотя я и дурен. Но предположим, что с той и другой стороны красота равна; все таки и тогда еще мало основания, чтобы желания были одинаковы, так как не всякая красота внушает любовь, – есть такая красота, которая ласкает глаз, не подчиняя себе желания. Если бы всякая красота имела силу трогать и покорять сердца, то весь мир представил бы хаос, в котором блуждают и сталкиваются желания, не знающие на чем остановиться, потому что сколько бы было красивых предметов, столько же было бы и желаний. Истинная же любовь, как я слыхала, не умеет разделяться, она должна быть добровольна, а не вынуждена. Если это так, как я думаю, то зачем хотите вы, чтобы мое сердце уступило принуждению и только потому, что вы меня любите? Но, скажите мне, если бы небо вместо того, чтобы создать меня прекрасной, создало меня дурной, имела ли бы я право жаловаться на то, что вы меня не любили бы? Вы должны, кроме того, принять во внимание, что приписываемую мне красоту не я сама выбрала, а такой, как она есть, мне даровало ее небо по своей милости, без всяких просьб с моей стороны; и, как ехидна не заслуживает упреков за свой яд, хотя и смертельный, потому что яд этот вложила в нее природа, так и я не заслуживаю упреков за то, что рождена прекрасной; красота в честной женщине подобна далекому огню или неподвижно лежащему мечу – ни тот не жжет, ни другой не ранит тех, которые держатся от них на некотором расстоянии. Честь и добродетель лучшие украшения души, без которых тело может, но не должно казаться прекрасным; почему же, если честность есть лучшее украшение души и тела, почему женщина, которую любят за ее красоту, должна терять это главное из своих благ, чтобы только удовлетворить желаниям мужчины, старающегося единственно только в виду собственного удовольствия отнять у ней это благо? Я рождена свободной и, чтобы иметь возможность вести свободную жизнь, я избрала уединение полей. Деревья этих гор составляют мое общество, чистые воды ручейков служат мне зеркалами: единственно только деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою красоту. Я сравниваю себя с далеким огнем, с мечем, которого невозможно достать. Тех, кого я заставила влюбиться моею наружностью, я разочаровала своими словами. И если желания поддерживаются надеждами, то, так как я ни Хризостому, ни кому другому надежды не подавала, то можно сказать, что в его смерти виновато скорее его упорство, чем моя жестокость. Если мне возразят, что желания его были честны и что потому я была обязана согласиться на них, то я отвечу, что на этом самом месте, где теперь предают его могиле, он мне открыл свое тайное намерение, я же сообщила ему свое желание жить в вечном одиночестве и предать земле непорочными останки моей девственной красоты; и если, несмотря на это предостережение, он захотел все-таки упорствовать в своей надежде и, плыть против ветра, то удивительно ли, что ему пришлось потерпеть крушение в водовороте собственного неблагоприятия. Если бы я ему подала надежду, я бы солгала; если бы я приняла его предложение, я изменила бы своему святому решению. Он упорствовал в своих обманутых надеждах, он пришел в отчаяние, не будучи ненавидим. Теперь вы видите, справедливо ли наказывать меня за его ошибку! Пусть жалуется на меня тот, кого я обманула; пусть отчаивается тот, кто получил от меня напрас-

ные обещания; пусть пребывает в уверенности тот, кого я ободрила в его склонности; пусть торжествует тот, кому я подарила свою любовь! Но имеет ли право называть меня жестокой и убийцей тот, кого я не обманывала, кому я ничего не обещала и кто не видел от меня ни одобрения, ни расположения? До сих пор небо не захотело, чтобы любить было моею участью; ошибается тот, кто думает, что я буду любить по выбору. Пусть это служит общим предостережением для всех, кто домогается меня в своих личных видах, и пусть впредь знают, что, если кто умрет из-за меня, то это не от ревности и не от презрения, потому что та, которая никого не любит, не может никому внушить ревности, выводить же людей из их заблуждения не значит их презирать. Пусть тот, кто называет меня василиском и диким зверем, избегает меня, как ненавистную и опасную тварь; пусть тот, кто называет меня неблагодарной, не дарит меня своими заботами; называющий меня своенравной, пусть не ищет знакомства со мной; называющий меня жестокой, пусть откажется от преследований меня – этот дикий зверь, этот василиск, эта неблагодарная, жестокая, эта женщина своенравного характера не просит для себя знаков их преданности и, ни в каком случае, не будет их искать и преследовать. Если нетерпение и жар желаний заставили умереть Хризостома, виновата ли в том моя честность, моя осмотрительность? Если я сохраняю мою добродетель среди деревьев этих уединенных мест, зачем же пытается заставить меня потерять ее тот, кто желает, чтобы я хранила ее между людьми? Как вам известно, у меня есть некоторое состояние; я не желаю состояния других. Я дорожу своей независимостью и не сумела бы подчиняться чужой воле. Я не люблю и не ненавижу никого; про меня не могут сказать, что я, обманывая одного, ласкаю другого; что, суровая с тем, я кротка и обходительна с другим. Честное общество пастухов и уход за своими козами – вот мои удовольствия. Что же касается моих желаний, то они не выходят из пределов этих гор, разве только для того, чтобы созерцать красоту неба, к которому душа всегда должна стремиться, как к своему естественному пребыванию.

Произнеся эти слова и не желая ничего больше слушать, пастушка удалилась и исчезла в чаще соседнего леса, оставив всех слушавших ее в большом удивлении как от ее ума, так и от красоты. Некоторые из присутствовавших, которых ранили могучие стрелы, брошенные ее прекрасными глазами, обнаружили намерение за нею последовать, не обратив внимания на довольно ясное, только что данное ею предупреждение. Но это заметил Дон-Кихот; и, найдя случай удобным, чтобы исполнить рыцарский долг, подав помощь нуждающейся девице, он положил руку на рукоятку своего меча и воскликнул громко и внятно:

– Пусть никто, к какому бы он званию или состоянию не принадлежал, не осмеливается следовать за прекрасной Марселлой, под страхом подвергнуться моему гневу и ярости. Она неопровержимыми доводами доказала, что она почти и даже совершенно безупречна в смерти Хризостома и далека от намерения снизойти на обещания кого-либо из своих любовников. Вот почему вместо того, чтобы быть преследуемой, она должна быть уважаема и почитаема, всеми честными людьми в мире, потому что, по всей вероятности, она единственная женщина, проводящая свою жизнь в таких постоянных уважения чувствах.

Вследствие ли угроз Дон-Кихота или вследствие напоминания Амброзио о том, что они еще в долгу перед своим другом, – только никто из пастухов не делал больше шагу, чтобы удалиться до тех пор, пока не вырыли могилу, сожгли бумаги Хризостома и положили тело его в могилу; предание тела земле вызвало у всех присутствовавших слезы на глаза. Могилу прикрыли большим обломком скалы на то время, пока не будет готов надгробный камень, на котором, по словам Амброзио, он предполагал заказать высечь такую эпитафию:

«Здесь прах покоится холодный
Того, кто роком был гоним.
Хоть жребий пастыря свободный
Он нес, но рабством был толим

«Любви и жертвой пал несчастной
Презренья гордой красоты:
Она с улыбкою бесстрастной
И жизнь сгубила и мечты.»

Затем на могилу набросали цветов и ветвей, и все пастухи расстались с Амброзио, свидетельствуя своему другу участие к его горю. Вивальдо и его спутник поступили так же. Дон-Кихот тоже простился с своими хозяевами, пастухами и путешественниками, приглашавшими его отправиться с ними в Севилью, город, по их словам, настолько обильный приключениями, что на каждом углу улицы их найдешь больше, чем в каком-либо другом городе во всем мире. Дон-Кихот поблагодарил их за это сведение, а также и за выраженные ему чувства, но добавил при этом, что он не хочет и не должен ехать в Севилью прежде, чем не очистит все эти горы от разбойников, которыми они кишат.

Узнав про такое благое намерение, путешественники не стали больше настаивать и, снова простившись с ним, отправились в путь, все время не прерывая своего разговора, предметом которого служили то история Марселлы и Хризостома, то безумство Дон-Кихота. Рыцарь же решил отправиться на поиски пастушки Марселлы и, отыскав ее, предложить свои услуги. Но этого плана ему не удалось исполнить, как это увидят из продолжения этой правдивой истории, вторая часть которой оканчивается на этом месте.

ГЛАВА XV

В которой рассказывается о печальном приключении, происшедшем с Дон-Кихотом при встрече с несколькими бесчеловечными янгуэзцами

Мудрый Сид Ганед Бен-Энгелли рассказывает, что, простившись со всеми присутствовавшими на погребении пастуха Хризостома, Дон-Кихот, в сопровождении своего оруженосца, въехал в лес, в котором скрылась прекрасная Марселла; но, проблуждав там в напрасных поисках повсюду часа два, они выехали на покрытую зеленой травой лужайку, посреди которой протекал прелестный светлый ручеек, и, соблазненные красотой места, решили провести здесь часы полуденного отдыха, так как жара давала сильно себя чувствовать. Дон-Кихот и Санчо слезли на землю и, пустив на волю Россинанта и осла пользоваться травой, росшей на лугу в изобилии, сани произвели нападение на сумку, и, без всяких церемоний, господин и слуга, вкупе и влюбё, принялись поедать ее содержимое.

Санчо не позаботился связать ноги Россинанту, зная его спокойный характер, так мало склонный к греху плоти, что все кобылы кордовских пастбищ не представили бы для него ни малейшего соблазна. Но по воле судьбы, а также и никогда недремлющего черта, случилось так, что в той же самой долине паслось стадо галицийских кобыл, которых гнали янгуэзские погонщики мулов. Эти погонщики имеют обыкновение отдыхать в полдень с своими стадами в местах, где есть трава и вода, и, стало быть, место, где остановился Дон-Кихот, было очень удобно для них. Вдруг на этот раз Россинанта разобрала охота приволкнуться за господами кобылами, как только он почуял их, и вот он, позабыв свои добрые привычки и природную походку, не спросив позволения у своего господина, помчался мелкою щегольской рысью поведать им свое любовное желание; но кобылы, нуждавшиеся, кажется, больше в корме, чем в чем-либо другом, принялись его лягать и кусать, в одну минуту порвали на нем седельные ремни и лишили всего его наряда. Но его ожидала и другая, более чувствительная невзгода: погонщики мулов, увидав его насильственное покушение на их кобыл, прибежали с палками и стали так жестоко бить его, что в скором времени он очутился лежащим вверх ногами на лугу. Увидав поражение Россинанта, Дон-Кихот и Санчо прибежали, запыхавшись, и рыцарь оказал своему оруженосцу:

– По-видимому, эти люди не рыцари, а негодяи и подлая чернь. Поэтому ты можешь с совершенно спокойною совестью помочь мне отомстить за оскорбление, нанесенное у нас на виду Россинанту.

– Какое к черту мщение, – ответил Санчо, – когда их двадцать, а нас два человека или, даже скорее, полтора.

– Я один стою сотни человек, – возразил Дон-Кихот, и, без дальнейших разговоров, он схватил меч и бросился на янгуэзцев. Воодушевленный примером своего господина, Санчо последовал за ним.

При первом нападении Дон-Кихот нанес такой сильный удар мечом одному из погонщиков, что просек надетую на нем кожаную куртку, а также и добрую часть плеча. Янгуэзцы, которых была порядочная компания, увидев, что на них нападают только двое, прибежали со своими дубинками и, окружив толпою обоих смельчаков, осыпали их градом палочных ударов. При втором же приступе они свалили Санчо на землю, а вскоре и Дон-Кихот, несмотря на всю свою ловкость и мужество, подвергся той же участи. Звезда его судьбы пожелала так, что он упал у ног Россинанта, все еще не имевшего сил подняться, – обстоятельство, показывающее, как удивительно исправно исполняет свою службу палка в грубых и расхлывшихся руках. Янгуэзцы же, при виде учиненного ими злодеяния, проворно оседлали своих кобыл и

пустились в путь, оставив наших искателей приключений в довольно дурном расположении духа и не менее того дурном состоянии.

Первым пришел в чувство Санчо Панса и, лежа рядом со своим господином, сказал ему жалобным и печальным голосом:

– Господин Дон-Кихот! А, господин Дон-Кихот!

– Что хочешь ты, мой брат Санчо? – отозвался так же плачевно рыцарь.

– Я хотел бы, если это возможно, – ответил Санчо, – чтобы ваша милость дали мне глотка два этого питья Фьербласо, если оно у вас имеется под рукою. Может быть, оно так же полезно при переломе костей, как и при ранах.

– Ах, если бы оно было у меня, несчастного, – ответил Дон-Кихот, – чего бы нам тогда не доставало? Но, клянусь тебе честью странствующего рыцаря, Санчо Панса, что не пройдет и двух дней – разве только судьба распорядится иначе – у меня будет этот бальзам, если только не потеряю употребления своих рук.

– Двух дней! – возразил Санчо; – а через сколько дней, по мнению вашей милости, будем мы в состоянии пустить в употребление свои ноги?

– Относительно себя, – ответил избитый рыцарь, – я не могу сказать числа; но я сознаюсь, что вся вина в этом несчастье падает на меня, так как я не должен был обнажать меча против людей, непосвященных в рыцари; и, без сомнения, за это самое нарушение рыцарских законов Бог битв допустил меня принять такое наказание. Вот почему, мой дорогой Санчо, я считаю нужным тебе сообщить кое-что касающееся нашего общего благополучия, именно – если ты увидишь, что подобная сволочь сделает что-либо оскорбительное против нас, то не дожидаясь, чтобы я обнажил меч для наказания их – чего я не сделаю ни в каком случае, – а бери сам меч и расправляйся с ними по своему. Если же к ним на помощь придут рыцари, тогда я сам сумею тебя защитить и, как следует, поразить их. Ведь ты уже видел на множестве опытов, до чего простирается мужество этой грозной руки.

Настолько преисполнен был наш бедный рыцарь высокомерия со времени своей победы над бискайцем. Но Санчо не совсем одобрил совет своего господина и счел долгом ответить на него:

– Господин, – сказал он, – я человек смирный, спокойного и миролюбивого характера и умею прощать всякие оскорбления, потому что у меня есть жена, которую я обязан кормить, и дети, которых я должен воспитывать. И потому примите к сведению, ваша милость, это заявление – я не могу сказать это распоряжение, – что я никогда, ни в каком случае не возьму меча в руки ни против простолюдина, ни против рыцаря и что отныне и до самого страшного суда я прощаю все обиды и те, которые уже сделаны, и те, которые будут сделаны мне, от кого бы они не происходили, от знатной ли особы, или простого человека, от богатого ли, или бедного, от дворянина или мужика, без исключения всякого звания и состояния.

Услыхав это, господин его отвечал ему:

– Хотелось бы мне посвободнее дышать, чтобы выразаться ясно, и успокоить чем-нибудь боль, испытываемую мною в помятом боку, чтобы объяснить тебе, Панса, в каком ты заблуждении. Слушай же нераскаянный грешник! Если ветер судьбы, до сих пор дувший против нас, повернет в нашу сторону и наполнит паруса наших желаний, чтобы привести нас, без опасностей и без бурь, к гавани какого-нибудь острова, обещанного мною тебе, – что будет с тобою, когда я, покорив этот остров, захочу сделать тебя его господином? Мне будет невозможно это сделать, потому что ты не рыцарь и не хочешь быть им, не имеешь ни мужества, ни даже желания мстить за свои оскорбления и защищать свою владетельную особу. Ты ведь знаешь, что во всех вновь покоренных областях или королевствах умы обитателей не настолько спокойны и не настолько привязаны к их новому господину, чтобы можно было не опасаться с их стороны волнений и желания, как говорится, попытать счастья. Следовательно, новому повелителю необходимо иметь достаточно разума, чтобы уметь себя вести, и достаточно храбрости,

чтобы принимать, смотря по обстоятельствам, то оборонительное, то наступательное положение.

– В приключении, которое только что произошло с нами, – ответил Санчо, – мне бы очень хотелось иметь этого разума и этой храбрости, о которых говорит ваша милость; но сейчас, клянусь вам честью бедняка, мне больше нужен пластырь, чем проповеди. Ну-те-ка, попробуйте подняться, а потом мы поможем подняться и Россинанту, хоть он этого и не заслуживает совсем, так как он главный виновник всего происшедшего с нами. Вот совсем не ожидал я такого поведения от Россинанта, которого я считал за такую же целомудренную и миролюбивую особу, как и я. Правду, должно быть, говорят, что нужно много времени, чтобы узнать людей и что нет ничего надежного в этой жизни. Кто мог бы сказать, что после страшных ударов мечем, нанесенных вашею милостью этому несчастному странствующему рыцарю, скоро разразится и над вашими плечами в свою очередь эта сильная буря палочных ударов.

– Еще твои плечи, вероятно, привыкли к подобным ливням, – ответил Дон-Кихот, – но что касается моих, привыкших нежиться в тонком голландском полотне, то они, вероятно долго будут ощущать боль после этой невзгоды, и если бы я не думал – что я говорю, не думал! – если бы я не был уверен, что все такие неприятности необходимо связаны с званием рыцаря, то я умер бы здесь от стыда и досады.

Оруженосец ответил на это:

– Господин, если такие неприятности составляют преимущества рыцарей, то не можете ли вы мне сказать, случаются ли они круглый год или же для них существуют постоянные и определенные времена, как для уборки хлеба: потому что мне кажется, что после двух таких жатв, как эта, мы, пожалуй, будем не в состоянии собрать третью, разве только Бог в своем бесконечном милосердии явится к нам на помощь.

– Знай же, друг Санчо, – ответил Дон-Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей подвержена всякого рода опасностям и несчастьям; но им также постоянно представляется возможность сделаться королями и императорами, как это доказано опытом очень многих рыцарей, история которых мне отлично известна; если бы боль не мешала мне, я мог бы тебе рассказать про некоторых из таких рыцарей, которые только силою собственной руки достигли самого высокого положения. А, между тем, эти же самые рыцари подвергались до этого и после этого всякого рода бедствиям и лишениям. Так храбрый Амадис Гальский видел себя во власти своего смертельного врага, волшебника Архилая, и достоверно известно, что этот волшебник, держа его в плену, дал ему более двухсот ударов ремennыми поводьями своей лошади, привязав его к столбу во дворе собственного замка. Неизвестный, но заслуживающий доверия автор рассказывает также, что рыцарь Феб, будучи схвачен в потаенной яме, раскрывшейся под его ногами в одном замке, был брошен в глубокое подземелье с связанными руками и ногами; там его подчивали таким лекарством, составленным из песку и снега, что бедный рыцарь был на волосок от смерти и, наверно, погиб бы, если бы в таком бедственном положении не явился к нему на помощь один мудрец, его большой друг. Следовательно, и я могу пройти чрез те же самые испытания, чрез какие прошли эти благородные личности; они терпели более тяжелые оскорбления, чем только что испытанное нами. Кроме того, ты должен еще знать, Санчо, что раны, нанесенные орудиями, которые случайно попались под руку, не имеют ничего позорного для того, кто эти раны получает; так в законе о поединках в точных выражениях сказано: «Если один башмачник, – говорится там, – ударит другого колодкой, которую он держит в руке, та, хотя эта колодка и сделана из дерева, все-таки нельзя сказать, что получивший удар был побит». Говорю это я тебе затем, чтобы ты не вздумал предполагать, будто бы мы, побитые в этой схватке, были тем самым обесчещены; этого вовсе нет, так как оружием, которое носили эти люди, было ничто иное, как колья, и ни у кого из них, насколько мне помнится, не было ни меча, ни кортика, ни кинжала.

– Мне они не дали разглядеть себя подробно, – ответил Санчо, – потому что, прежде чем я успел взмахнуть моей Тисоной,¹⁹ они так погладили мои плечи своими дубинками, что свет пропал у меня из глаз, а сила – из ног, и я повалился на то самое место, где я еще и теперь покоюсь. И злит меня вовсе не мысль, что эти удары нанесли мне бесчестие, а боль от полученных ударов, которые так же долго останутся запечатлевшимися у меня в памяти, как и на плечах.

– И все-таки, – ответил Дон-Кихот, – я тебе напомним, мой дорогой Санчо, что нет огорчения, которого не изглаживало бы время, и боли, которой не излечивала бы смерть.

– Так-то так, – возразил Санчо, – да ведь что же может быть хуже той боли, которая проходят только со временем и излечивается лишь со смертью? Если бы, по крайней мере, ваше бедствие было одним из тех, которые облегчаются одним или двумя пластырями, это было бы все еще ничего; но мне кажется, что всех больничных припарок было бы мало, чтобы поставить нас на ноги.

– Ну, Санчо, – сказал Дон-Кихот, – перестань жаловаться и примиришься с судьбою; я подам тебе в этом пример. Посмотрим-ка, как поживает Россинант, потому что на долю бедного животного, мне кажется, выпало тоже порядком.

– Тут нечему удивляться, – ответил Санчо, – ведь он – тоже странствующий: рыцарь; но меня удивляет, что мой осел остался здоров и невредим и ни волоска не потерял там, где мы поплатились своей шкурой.

– К несчастью, – ответил Дон-Кихот, – судьба всегда оставляет одну дверь открытой для выхода; я говорю так потому, что это доброе животное может на время заменить Россинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где бы полечили мои раны. Тем более, что я не считаю позорным ехать на этом животном; и читал, помнится мне, что добрый, старый Силен, воспитатели и наставник бога радости, въезжая в стовратный город, сидел верхом на красивом осле.

– Все-таки, надо сидеть верхом, как вы говорите, – ответил Санчо; – а то ведь есть разница между человеком, сидящим верхом, и человеком, положенным поперек осла точно мешок муки.

– Раны, получаемые в битвах, – проговорил важно Дон-Кихот, – приносят честь, которой ничто не может отнять. Потому, друг Санчо, не возражай больше, но, как я уже тебе сказал, поднимись, насколько для тебя это возможно, и положи меня на осла, как только можешь, поудобнее, а затем поедем отсюда, пока не застала нас ночь в этом уединенном месте.

– Но я часто слышал от вашей милости, – отвечал Санчо, – что странствующие рыцари привыкли спать в пустынях при свете звезд и что это им нравится лучше всего.

– Конечно, так, – ответил Дон-Кихот, – когда они не могут устроиться иначе или когда они влюблены; и совершенно верно, что среди них встречался и такой рыцарь, который оставался на утесе, подвергаясь солнечным лучам, холоду и всем суровостям погоды в продолжении целых двух лет, причем его дама ничего об этом не знала. Одним из таких был и Амадос, который, назвавшись Мрачным Красавцем, выбрал своим местопребыванием утес Бедный и провел там, не могу сказать точно, восемь-ли лет или восемь месяцев, потому что неуверен в своей памяти: достаточно знать, что он там пребывал, наложив на себя эпитетом из-за какой-то неприятности, полученной им от своей дамы Орианы. Но кончим все это, Санчо, пока не случилось какого-нибудь несчастья с ослом, как с Россинантом.

– Это было бы черт знает что, – возразил Санчо. И затем, испустив тридцать вздохов, вскрикнув раз шестьдесят «ой!» и послав сто двадцать ругательств и проклятий тем, которые довели его до того, он наконец-то поднялся на ноги, но, остановившись в своем предприятии на полдороге, он так и остался согнутым, как дуга, не будучи в состоянии выпрямиться окончательно. Наконец, несмотря на страдания, ему удалось поймать и взнуздать осла, который,

¹⁹ Название одного из мечей Сиды.

воспользовавшись свободой этого дня, тоже стал себя вести несколько вольно. Потом он поднял Россинанта, который, если бы у него был язык, чтобы жаловаться, не уступил бы в этом господину и слуге. В конце всего этого Санчо устроил Дон-Кихота на осле, привязал Россинанта сзади и, взяв своего скота за недоуздок, зашагал в ту сторону, где, по его предположению, должна была находиться большая дорога. По прошествии часа ходьбы смиростивившаяся судьба привила его неожиданно к большой дороге, где он увидел постоялый двор, который, наперекор его мнению, в воображении Дон-Кихота оказался замком. Санчо утверждал, что это – постоялый двор, а господин его упорствовал, говоря, что это, несомненно, замок. Спор их окончился только тогда, когда они приблизились к воротам постоялого двора, в которые и въехал Санчо со всем своим караваном, бросив дальнейшие уверения.

ГЛАВА XVI

О том, что случилось с знаменитым рыцарем на постоялом дворе, принятом им за замок

Хозяин постоялого двора, при виде Дон-Кихота лежащим поперек осла, спросил Санчо, чем болен этот человек. Санчо ответил, что его господин ничем не болен, что он только ска- тился с верхушки одного утеса вниз и тем помял себе немного ребра. Хозяин имел жену, быв- шую, не в пример прочим женщинам ее звания, от природы человеколюбивой и исполненной сострадания к скорбям ближнего. Она скоро прибежала и начала ухаживать за Дон-Кихотом; в этом помогала ей ее дочь, молодая девушка, стройная и с хорошеньким личиком.

На этом же постоялом дворе была служанка астурийка с широким лицом, плоским затыл- ком и сплюснутым носом, которая; кроме того, была крива на один глаз, да и другой имела не совсем в исправности. Изящество ее тела восполняло эти легкие несовершенства: ростом она была не более семи четвертей с головы до пят, а плечи ее настолько выдавались, что застав- ляли ее смотреть в землю немного больше, чем она желала бы. Эта прелестная особа помогала хозяйской дочери; и обе они изготовили Дон-Кихоту скверную постель на чердаке, служившем, по всей видимости, долгие годы сеновалом. Тут же спал один погонщик, лежавший немного подальше Дон-Кихота; и, хотя постель мужика была устроена из седел и попон, она, все-таки, была много удобней постели рыцаря, потому что последняя состояла просто из четырех неглад- ких досок, положенных на две неодинаковой вышины скамейки, матрац такой тонкий, что имел вид одеяла, был весь покрыт какими-то выпуклостями, которые на ощупь можно было при- нять за камни, если бы несколько дыр в матраце не обнаруживали, что это была свалявшаяся шерсть; две буйволовых кожи служили вместо простыни, а в одеяле можно было сосчитать все до одной ниточки. На таком-то негодном ложе распростерся Дон-Кихот, и хозяйка с дочерью принялись растирать его мазью с ног до головы в то время, как Мариторна – так было имя астурийки – светила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.